

Эндрю Миллер

КАЗАНОВА



— Как по-твоему, смерть — это мужчина или женщина?

— Моя смерть или ваша, мсье?

Казанова
Эндрю Миллер

Аннотация
Эндрю Миллер. Казанова
Часть первая
...
глава 1
глава 2
глава 3
глава 4
...
глава 5
глава 6
глава 7
глава 8
глава 9
глава 10
...
глава 11
глава 12
глава 13
глава 14
глава 15
глава 16

глава 17
глава 18
Часть вторая
глава 1
глава 2
глава 3
глава 4
глава 5
глава 6
глава 7
глава 8
глава 9
глава 10
глава 11
глава 12
глава 13
глава 14
глава 15
глава 16
...
глава 17
глава 18
глава 19
Часть третья
глава 1
глава 2

глава 3
глава 4
глава 5
...
глава 6
глава 7
глава 8
Часть четвертая
глава 1
глава 2
глава 3
глава 4
...
глава 5
глава 6
глава 7
...
глава 8
Примечание автора

Аннотация

От автора «Жажды боли» — история мучительного лондонского увлечения зрелого Казановы, рассказываемая Казановой на склоне лет: куртуазные маневры и болезненные разочарования, жестокий фарс как норма жизни и строительные работы с целью переломить судьбу, и залитый потопом Лондон, ностальгически трансформирующийся в Северную Венецию. И, конечно, женщины.

Эндрю Миллер
Казанова

Посвящается П. У. и Д. К.

Роман. Небольшое повествование, преимущественно о любви.

Из словаря Сэмюэля Джонсона

Часть первая

...

Дверь отворилась, и свет хлынул из коридора в комнату, омыв ее своими лучами. Слуга отпер ставни, распахнул их, остановился, потер руки и поглядел на заснеженные крыши Дукса. Старик, сидевший позади него в кресле, с собакой у ног, перестал всхлипывать и бормотать и чихнул от дневного света.

— К вам пришли, *mein Herr*[1]. Посетительница, — произнес слуга, отворачиваясь от окна и разглядывая старика так, как будто это была фигура на одном из огромных гобеленов графа Вальдштейна, висевших в анфиладе нижних залов. Казалось, что этот человек был соткан из тонких, ветхих нитей, и никто не удивился бы, увидев сквозь его грудь спинку кресла.

— Посетительница?

— Дама, *mein Herr. Sehr schön*[2].

Так как граф был в отъезде, а дворецкий Фельдкирхнер не стесняясь называл старика

---

[1] Примечания: 1
Мой господин *(нем.)*.

[2] Примечания: 2
Очень красивая *(нем.)*.

полоумным, развалиной или даже похлеще, слуга осмелел. Он подмигнул, послал воздушный поцелуй и выскользнул из комнаты, пока старик, сражаясь с одеялами, с трудом встал на ноги и начал преследовать его, размахивая кулаками, как взбешенная улитка своими рожками.

— Якобинец! Говночист! Твой хозяин об этом еще услышит, воришка подзаборный! Ты что, забыл зажечь огонь? Хочешь заморозить меня до смерти? Чума тебе в нос!

Но ругаться не имело смысла. Он кричал по-итальянски, а точнее говоря, по-венециански, и эти варвары его не понимали. Старик в тысячный раз подумал, что ему стоило бы выучить несколько отборных выражений по-немецки и по-чешски, на языках, проникающих прямо в печень, подобно хорошему толедскому кинжалу. Тогда, возможно, его начали бы немного уважать, хотя время для таких чудес и революционных перемен, конечно, было давно упущено.

Он покачал головой и, шаркая, приблизился к окну. Из дюжины труб вился дым, а снег, переставший падать ночью, вновь повалил с неба и скрыл тонкую вязь птичьих следов на подоконнике. Рыночную площадь устилали снежные хлопья. В сравнении с важно гулявшими белыми

гусями они казались тускло-серыми. Рядом виднелись и красные пятна пролитой крови.

Сегодня был день рыночной торговли и, очевидно, какой-то праздник, потому что на площади собрались бродячие актеры со своими куклами из костей и проволоки. А вот и их старый мул, исправно довезший труппу из Олмуца до Хубертусбурга. В такие дни старик, опираясь на палку, спускался вниз посмотреть на их представления. Актеры относились к нему тепло и душевно и уже несколько раз играли в его честь марионеточную комедию дель арте с Доктором, Бригеллой, Арлекином и, конечно, его любимцем, капитаном Спавентой, не носившим рубашек, потому что волосы на его груди то и дело вставали дыбом от гнева. Старик смеялся над капитаном, но частенько и плакал над его злоключениями глупыми, густыми, как янтарь, слезами. Остановить их ему никак не удавалось.

Вот где он должен встретить свой последний день! В богемском проходном дворе, на перекрестке всех ветров. Правда, весной и летом выдавались дни, когда с юго-запада налетал бриз, и он полдня ощущал вкус иного мира — увитых цветами балконов и колоннад с пурпурными тенями. Казалось, что в эти часы можно было

прожить всю жизнь в объятиях какой-нибудь красотки, вбирая в себя запах ее волос и нежное дыхание, согревающее его волосатую грудь.

Нет. Сейчас незачем думать о женщинах, хотя они по-прежнему снились ему, а когда он просыпался, то чувствовал под простыней набухшую плоть. Уж лучше ночи, когда сон был простым провалом сознания, репетицией смерти, от которой он больше не прятался. Некогда утешавшие видения теперь только терзали его.

Он нашел на столе среди хлама остатки крутого яйца. Осмотрел его, выковырял кусок холодного белка, быстро проглотил половину и скормил другую своей фокстерьерше Финетт, потрепав ее за уши. Потом медленно наклонился и поцеловал бархатистую собачью шерсть с короткими кудрями.

— Разве эта ящерица не сказала, что к нам пришла гостья?

Собака поглядела на него, не бессмысленно, а как-будто понимая, что может ответить ему лишь посапыванием, взмахом хвоста и тревожным рычанием. Старик пожал плечами. Он никого не ждал, но посетители по-прежнему являлись к нему. Он не разбирал имен, не запоминал их, но был рад, потому что они приносили подарки

— вино, сыр маскарпоне, а порой и обожаемых им лангустов, из которых кухарка варила суп. Гости садились, любезно слушали его рассказы и кивали головой, побуждая к безрассудной откровенности, хотя он просто не представлял себе, о ком можно откровенничать, кто из его знакомых еще жив и покраснел бы от этих воспоминаний. Ему вдруг взбрело в голову надеть хороший камзол: у него остались один-два, не расползшихся от сырости и не съеденных молью. Он посмотрел на бумаги: из-за них его комната походила на кабинет неряшливого, полусумасшедшего чиновника. Давно пора их выбросить, а то ведь от слуг никогда не дождешься. Старик вытер нос рукавом и почувствовал благодарность за то, что по-прежнему способен мыслить и считать себя гражданином мира, хотя это сознание было очень зыбким. Подобрал лежавшие рядом бумаги, привел их в порядок и покосился на заголовок на первой странице:

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ГЕКСАЭДРА,

ПРОДЕМОНСТРИРОВАННОЕ

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ ГЕОМЕТРИИ

В УНИВЕРСИТЕТАХ И АКАДЕМИЯХ ЕВРОПЫ.

Под ним на месте обещанной рукописи значился список его вещей, пропавших при переезде в это сорочье гнездо, где он стал библиотекарем замка. А ниже — дюжина страниц с объяснениями, как при точном сочетании риска и арифметических правил можно выиграть в лотерею в Риме, Женеве или где-нибудь еще. Однако он никогда не пользовался предписаниями и не мог похвалиться крупными выигрышами.

Старик взял в руки кипу бумаг, словно белье для стирки, но вместо того чтобы убрать их в ящик или швырнуть под кровать, если там еще осталось место, прижал старые листы к груди и бросил их в остывший пепел. Потом зажег спичку и поднес ее к камину.

ПЫХ!

С какой жадностью разгорелся и набросился на них огонь! Синие и оранжевые губы поглощали чернила, мякоть бумаги, прекрасную линию тонких строк, нежные обращения по-французски и

по-итальянски: *«Unico Mio Vero Amico»*[3], черный и красный сургуч. Он не без испуга понаблюдал с минуту и направился за новым топливом — любовными письмами, документами, написанными по-латыни, просьбами помочь деньгами, встретиться, выхлопотать какое-то место. Всевозможные счета, особенно много их было — сотни, тысячи! — от портных и виноторговцев. Все в огонь, и пусть жаркий дым взовьется из трубы в железные небеса Богемии! Старик обшарил буфеты, сундуки с отпечатками пальцев Вальдштейнов, карманы камзолов, которые не носил месяцами, а то и годами. Сливовые глаза Финетт блестели от света, и она покорно следовала за хозяином, словно завороженная пробудившейся в нем энергией. Вскоре комната согрелась, а он по-прежнему откапывал новые материалы для горящего камина. Рукопись под названием *«Delle Passioni»*[4], замасленный и пожелтевший экземпляр готенбургской газеты. Старый паспорт в Каталонию — *«bon pour quinze jours»*[5], — 1768.

---

[3] Примечания: 3
«Мой единственный, верный друг» *(ит.).*

[4] Примечания: 4
«О страстях» *(ит.).*

[5] Примечания: 5
«Годен на пятнадцать дней» *(фр.).*

Вспомни Нину Бергонца, сказал он себе. Ее мать одновременно приходилась ей сестрой.

Почему он не сделал этого раньше, много лет назад? Старик чувствовал себя как воздухоплаватели, сбрасывавшие сумки с песком, чтобы их шары, их воздушные гондолы вновь смогли парить в небе. Он и сам некогда собирался перелететь через Альпы в Триест, а затем в Венецию. Думал о том, как проберется сквозь густой туман над венецианским заливом и будет расшвыривать сверху лепестки роз или засохшее собачье дерьмо. Мысль эта кружила ему голову в течение месяца. Но в ту пору дули северные ветры, и все крали у всех, и план не осуществился, подобно многим другим.

В огне сгорела дюжина стихотворных страниц, первая и единственная глава его великой «Истории Республики». Письма от Генриэтты, письма от Манон Балетти, либретто, предназначенное для композитора «Дона Жуана», но так ему и не отправленное. Криптограммы, воспоминания, дневники с записями снов и фантазий. Бумаги из прачечной. Рецепты фаршированных перцев и заливной свиной ноги. Ни конца, ни края! Его жизнь превратилась в бумагу, а сейчас он превратил бумагу в воздух, в шелковую, черную золу. И

когда он решил, что жечь уже нечего, кроме старой газеты и мягкой, элегантной банкноты, денег столь же мертвых, как и отпечатанный на них король или император, то нашел засунутую в носки сапог для верховой езды — подарка нимфоманки герцогини Шартрской за излечение ее от прыщей — еще одну пачку писем, семь или восемь штук, перевязанных лентой ржавого цвета. Старик собирался их испепелить, но необъяснимая тревога заставила его помедлить и поднести письма к носу, верному органу, одному из немногих, не изменивших ему. Он принюхался, чихнул, раздул ноздри и уловил сквозь въевшийся запах старой, изношенной кожи аромат летнего жасмина, столь тонкий и нежный, что после очередного чиха — да и чиха ли? — после следующей ингаляции страсти тот исчез, будто лицо в облаке табачного дыма.

Старик вытащил из связки верхнее письмо, открыл его, затем перевернул, следуя глазами за аккуратным девичьим почерком до подписи внизу. Одна-единственная буква «М», высокая, как наперсток.

«Мсье, вы, конечно, обрадуетесь, узнав,
что ваш попугай был снят с крыши дома

пивовара в Саутуорке. И этот пивовар подарил его своей жене, толстой и веселой женщине…»

Он сжал в кулаке пергамент и скомкал его. В его сознании постепенно распустился тысячелистный бутон памяти. Образы Мари Шарпийон, ее матери, ее теток, ее бабушки (бедная женщина! да простит его Господь!), влетев в его душу подобно сверкающей пыльце, предстали перед ним так ясно, словно он видел их часом раньше, а не тридцать лет назад. Вместе с ними появились Жарба, и огромный человек-тень, и Гудар. И Лондон, город-улей, изувеченный синяками, жадный, ненасытный, перемоловший его и выплюнувший кости. О, какие страшные воспоминания, как опасны они были и как безжалостно дергали и сжимали его изношенное сердце…

Финетт заскулила. На частотах, недоступных человеческому слуху, она часто слышала шаги мертвецов, чуяла тянущийся за ними шлейф паутины и могильную пыль. Какое-то мгновение ее застывший хозяин напоминал одну из мумий в капуцинской церкви в Палермо. Потом он опять ожил, вздрогнул и направился к камину. Но когда в комнате появилась безмолвная гостья, старик

по-прежнему стоял в нерешительности, сжав письма в руке.

— Синьор Казанова?

В ее голосе было что-то мягкое и манящее, как будто палец легким движением прикоснулся к волосам у него на затылке. Он медленно обернулся.

глава 1

Представьте себе его в ту пору: тридцать восемь лет от роду, волевой подбородок, крупный нос, большие карие глаза на лице «африканской смуглости», мускулистые грудь и плечи гвардейца. Таким он сошел с трапа корабля в гавани Дувра вслед за герцогом Бедфордом, с которым после джентльменского спора поделил расходы в путешествии от Кале — каждый заплатил капитану брига по три гинеи. Слуги вынесли их багаж и поставили его на набережной.

— Инг-лия! Инг-лия!

— Да, это действительно Англия, мсье, — откликнулся герцог на безупречном французском языке. Впрочем, иного от британского посланника в Фонтенбло и не следовало ожидать. — И пусть ваше пребывание здесь окажется интересным.

Они постояли минуту, ощутив себя на твердой земле, разминая ноги и вдыхая свежий ветер, пропахший солью, смолой и рыбьими потрохами. Полуголый мальчик, держа за шкирку свою дворнягу, уставился на их строгие камзолы, туго натянутые перчатки и сверкавшие на солнце

рукоятки шпаг, словно они, подобно героям деревенской пантомимы, спустились с облака на скрипучих веревках. Казанова огляделся по сторонам — вызывающее богатство и вызывающая бедность. Конечно, такие мальчишки встречаются повсюду и время оставляет человеческий хлам в каждом уголке мира, однако он не мог остаться равнодушным и всякий раз видел в них себя — полубезумного сына танцовщицы Дзанетты, бегущего вдоль по *calli*[6], изумленно глазеющего на сенаторов в алых плащах, на раззолоченных иностранцев, на дам, идущих нетвердой походкой под тяжестью своих драгоценностей. Казанова достал из кармана серебряную монетку и, покачав ее на ногте большого пальца, бросил мальчишке. Она покатилась по камням мостовой в лужу от вчерашнего дождя. Мальчик, по-прежнему смотревший на приезжих, нагнулся и ощупью отыскал монетку. Казанова отвернулся — он дал себе зарок не думать о неприятном как можно дольше.

На таможне он назвался Сейнгальтом, шевалье де Сейнгальтом, гражданином Франции, и, конечно, солгал, не удержавшись от излюбленной

---

[6] Примечания: 6
Улице *(ит.)* — в Венеции.

привычки выдумывать себе разные имена. Это также была и политика. Он исколесил Европу вдоль и поперек и понял, что если брать в расчет основные части континента, тот отнюдь не велик. В путешествиях он познакомился с доброй половиной влиятельных и знатных особ из всех европейских стран, а фамилия «Казанова» фигурировала в десятках документов, упоминалась в секретных депешах и стала известна многим, пожалуй, слишком многим людям, так что ему не хотелось ею пользоваться. В каком-то смысле, хотя, разумеется, с изрядной натяжкой, он и правда считал себя гражданином Франции. Разве он сейчас не состоит на службе у министра Людовика XV, который пригласил его на ужин, угостил омарами в масле, дикими голубями с пюре из артишоков и во время этой изысканной трапезы поручил разузнать как можно больше о британском королевстве. Нам пригодятся любые ценные сведения, пояснил министр, — о флоте, скандалах, о недовольных тори. К тому же Казанову навсегда изгнали из Венецианского государства, и список его прегрешений был велик. Он развратил молодежь республики, предпочел драматурга Дзордзи аббату Шариа в год, когда группировку Шариа возглавлял Красный Ин-

квизитор. Он каббалист и франкмасон, он довел до сумасшествия графиню Лоренцу Маддалену Бонафиде и так далее, однако при всех преувеличениях у грозного перечня имелась кое-какая реальная основа. В те дни каждый изобретал себя заново, это почиталось едва ли не за должное.

Он обмакнул перо в чернильницу и расписался — «Сейнгальт» в регистрационной книге для иностранцев. Чиновник засыпал подпись песком, откинулся на стуле и холодно улыбнулся.

— Это простая формальность, мсье, — заметил он. — Вы можете свободно проходить.

Карета герцога стояла рядом с таможней. Казанова был готов погрузить свой объемистый багаж в любую подходящую повозку и охотно принял предложение герцога отправиться в Лондон вместе с ним. Он почувствовал, как потеплело на улице. Они сняли плащи и открыли верхние окна кареты всего на дюйм-другой, а иначе задохнулись бы от налетевшей пыли. Его сиятельство, безукоризненно воспитанный человек, которого Казанова без удивления встретил бы в Аллее Вздохов Пале-Рояля или другом столь же известном уголке столь известного места, начал излагать историю графства Кент с древних времен до наших дней. Казанова кивал головой и что-то любезно

восклицал, но расслышал лишь несколько слов. Он разглядывал зеленые межи английских полей, густые английские леса, чарующе бледную, с примесью мела, голубизну английских небес и размышлял, можно ли зажить новой жизнью в этой плодородной и приветливой стране, забыть о мучительных бдениях до рассвета, когда какой-то дьявольский пес, казалось, вцеплялся ему в грудь и жарко дышал в лицо. Бессонница, усталость, подавленность не покидали его после Мюнхена, будто кашель, от которого никак не избавишься.

Мюнхен! Именно там были биты все его карты, а эта маленькая танцовщица Ларено украла его одежду и драгоценности да еще заразила позорной болезнью. Исключительная боль. Он орал от приступа лихорадки, как сумасшедший во время грозы. И то, что начала болезнь, чуть не довершили врачи с их латынью, пьянством и грязными ножами. В конечном счете он спас себя сам — строгой диетой из молока, воды и ячменного супа. Но провалялся пластом два с половиной месяца. Галлюцинации, гниющие зубы. Пугающие видения.

Постепенно его вялые, опавшие было мускулы снова окрепли. Он смог щелкать пальцами орехи

и, на первый взгляд, не слишком изменился после тяжелого потрясения. Но как определить истинную цену подобной борьбы за жизнь, подумал Казанова. Какой процент глубинных резервов организма и мужской силы он утратил? Иногда он чувствовал, что мир закрылся перед ним, а горизонт преградил путь, словно турникет. Для того чтобы заново обрести себя, ему нужно было полное спокойствие. Да, покой, тишина и безмятежность. «Я в расцвете сил, это зенит моей жизни», — твердил он себе в третий или четвертый раз за день. Однако само напоминание об этом и то, как часто он повторял его, казалось странным и не могло не тревожить.

Они прибыли в лондонский Вест-Энд в сумерках и расстались, засвидетельствовав взаимное почтение. Когда карета герцога плавно отъехала и скрылась в вечерней дали, Казанова ощутил восхитительную слабость — неизменную спутницу приезда с туго набитым кошельком в незнакомый город. Как будто его мягко давило и распирало изнутри некое таинственное изобилие. Он называл себя знатоком городов и видел их столько, что мог, по собственному утверждению, узнать о них все — по походке горожан, состоянию их животных, количеству и поведе-

нию нищих, ароматам и миазмам, из которых и состоял неповторимый воздух того или иного места. Вроде вкуса вина или особого аромата нижних юбок. Лондон, профильтрованный его отличным обонянием, пропах сырым песком, грязью, розами и пивным солодом. Или угольным дымом, пекарнями и пылью.

На Сохо-сквер он довольно долго простоял под окнами венецианской резиденции, надеясь, что ее глава, Дзуккато, поглядит из окна на беспрестанно снующие экипажи и заметит его, живого и невредимого, добравшегося до Лондона и равнодушного к суровой цензуре далекой и давно покинутой им республики.

Он вздохнул, ссутулился и двинулся через усаженный деревьями центр площади к дому напротив. Казанову пригласила к себе старая приятельница, мадам Корнелюс — одна из тех, с кем он, в прошлом и под иными небесами, провел часы, полные страсти. Она была известна также как де Тренти и Рижербоос, вдова танцора Помпеати, того самого Помпеати, который покончил с собой в Венеции, вспоров живот бритвой.

Она приняла Казанову в гостиной на первом этаже. Лампы еще не были зажжены, и он не мог сказать, пока не приблизился и не склонился к

ее руке с почтительным поцелуем, милосердно ли обошлись с ней прошедшие годы. На ней было платье с нижней юбкой — темно- и светло-синих тонов, — а лицо чуть накрашено и напудрено. Он обратил внимание, что она по-прежнему тонка и стройна, как мальчик, но мальчик с телом, закалившимся в огне тяжелой жизни.

Они осыпали друг друга комплиментами. Каждый из них отметил, что другой — другая — совсем не изменились. Время просто обошло их стороной! Как молодо она выглядит. Каким благополучным и процветающим кажется он. Они засмеялись. И она сказала, что сумрак ей льстит. Казанова отражался в ее взгляде, как в зеркале, и скрытность не имела между ними ни малейшего смысла. Все, о чем бы они ни умолчали — а молчать приходилось о многом, — не могло быть важной тайной.

Казанова и хозяйка прошли по дому, взявшись за руки, и остановились у высокого окна с видом на площадь. Отдав должное этикету, они заговорили о старых знакомых, о Марчелло и Итало, о Фредерике, Франсуа-Мари и Федоре Михайловиче. Мрачный список имен и быстро всплывшие в памяти лица — слишком многие из них уже стали жертвами катастроф, хватаясь за горло, за

сердце, истекая кровью в парке на рассвете, затеяв чистить пистолет с засунутым в рот дулом. На мгновение под маской меланхолии пробудилась их старая привязанность. Вечер как будто подействовал на них, соблазнив скорым наступлением ночи. Они замолчали. Две или три минуты, пока они наблюдали за меркнущим над лондонскими крышами светом, за шалью золотистого заката над шпилями церквей и трубами и за полетом мелких птиц, Казанова раздумывал, уж не обнять ли ее или, может быть, отнести на *lit de jour*[7] и хоть на краткий миг получить удовольствие от любовной связи. Затем пробили часы и в комнату вошли слуги со свечами. Двое у окна отстранились друг от друга.

Теперь она зарабатывала себе на жизнь, устраивая званые приемы для высшего общества. Раз в месяц она приглашала на праздничные обеды; билеты продавались заранее и стоили по две гинеи. Корнелюс с канделябром в руке провела его в банкетный зал, продемонстрировав огромный полированный стол, за которым свободно умещалось пятьсот гостей. И сказала, что подобных приемов нет нигде в городе.

---

[7] Примечания: 7
Кушетку (фр.)

— Должно быть, вы преуспеваете, моя дорогая Тереза.

— Я могла бы преуспеть, — ответила она, взглянув на него сквозь пламя свечи, — но меня все грабят. Работники, торговцы, слуги. На моих счетах в прошлом году значилось двадцать четыре тысячи фунтов, а для себя не найдется и пенни. Мне нужен, — она отвернулась, — твердый, решительный человек, способный защитить мои интересы.

Казанова осмотрел огромный зал. Это было первое предложение, полученное им в Лондоне, и, очевидно, им не следовало пренебрегать, но он тут же понял, что не примет его. От нее веяло неудачей, и он сумел это уловить. Ее благодарность будет пропитана ядом, и в конце концов он тоже обманет Корнелюс. Казанова легко мог представить себе убожество ее званых приемов. Нет, он приехал в Лондон совсем не за этим.

— Я уверен, что вы найдете такого человека, — проговорил шевалье.

— Не сомневаюсь, — ответила она и словно вычеркнула его имя кончиком пера.

В гостиной, где кофе подали на французский манер, Казанову представили дочери Корнелюс, Софи. Прикинув, сколько ей лет, — подобным рас-

четам он предавался не раз и не два, — шевалье решил, что вполне мог быть ее отцом. Он провел прямую линию от скрипучей кровати, крика, последнего беззаботного толчка к этой девочке с холодными глазами, в строгом чепце и скромном платье. Она одинаково свободно говорила по-английски и по-французски. Играла на фортепиано. Пела. Танцевала. Ей было десять лет. Он протанцевал с ней, а затем покрыл ее лицо нежными поцелуями, ощутив медовую сладость детской кожи. Он вел себя, как мудрый отец, узнавший своего ребенка. Когда она остановилась у его кресла, они посмотрели друг другу в глаза, словно пытаясь увидеть самих себя. Конечно, она никогда не встретится со всеми своими братьями и сестрами. Да и он не знал почти никого из них, но дожил до таких лет, когда они мерещились ему на главных улицах любого города, от Брюгге до Фамагусты. Он не мог отделаться от впечатления, что они окидывают его игривыми взглядами и улыбаются его губами. Другого это, наверное, было бы способно воодушевить, но он чувствовал лишь нервное напряжение и подавленность.

Это случилось 11 июня 1763 года.

глава 2

Две недели он прогостил у Корнелюс, но больше не выдержал ее укоризненных взоров, болтовни о слугах и страха перед кредиторами, из-за которого она тряслась перед каждым выездом в город. Казанова снял себе четырехэтажный особняк на Пэлл-Мэлл за двести гиней в месяц. На всех этажах было по две комнаты, ванная и туалет. Дом тщательно убрали, а вещи вычистили, сложили и подготовили к приезду жильца. Ему бросились в глаза ковры, зеркала, фарфоровые сервизы, набор серебряных блюд, отличная кухня и запасы хорошего белья. В небольшом саду за особняком стоял кирпичный флигель и был вырыт пруд — каменный Купидон на его берегу смотрел на заросли сирени.

В найме дома и переговорах ему помог синьор Мартинелли. Казанова познакомился с ним в кофейне «Орандж» напротив театра Хеймаркет, где обосновались беглые, плутоватые итальянцы. Мартинелли сидел у окна, не обращая внимания

на торговцев *vongole*[8], бесчестных *confidenti*[9] и профессиональных мужей, и правил рукопись, словно работал в библиотеке Падуанского университета. Он прожил среди англичан пятнадцать лет, как ученый клоп, сосущий знания. В этом человеке ощущалась спокойная энергия: казалось, что он преодолел штормы своей жизни и достиг того душевного покоя, к которому Казанова мог лишь стремиться. Недавно Мартинелли рискнул представить миру свой последний труд — новый перевод «Декамерона», для издания которого организовали подписку: выпустили билеты ценой в гинею. Казанова купил их целую дюжину. Он преклонялся перед писателями, считал их отмеченными знаком свыше, и ему никак не удавалось себя переубедить.

Когда все дела с домом благополучно завершились, Мартинелли повел шевалье осматривать город. Они добрались до рынка Ройал-Иксчейндж в Чипсайде. Там, в толпе, среди разноязыкого говора, торопливых рукопожатий, покачивания головами, деловитого покашливания и жадных взглядов, мгновенно отмечавших прохожих, оце-

---

[8] Примечания: 8
Морскими черенками *(ит.)* — съедобные моллюски.

[9] Примечания: 9
Осведомителей *(ит.).*

нивавших содержимое их кошельков и намертво запечатлевавших в гроссбухах памяти, Казанова нашел себе слугу — образованного темнокожего молодого человека с вежливыми, проницательными глазами и влажным черным лбом. В своем суконном коричневом камзоле он выглядел хрупким, даже немного женственным, а пурпурный шарф полыхал у него на шее, будто пламя.

— Как тебя зовут?

— Жарба.

— Ты говоришь по-итальянски?

— В детстве я жил в доме торговца оливками в Палермо, синьор.

— А по-французски?

— Да, мсье. Я пять лет был кучером у жены стряпчего в Бордо.

— Несомненно, ты также хорошо говоришь по-английски.

— Вы правы, сэр. Я служил у английского капитана флота, ходил вместе с ним в плавание и каждую ночь читал ему Библию.

— И как сложилась жизнь твоего капитана, Жарба?

— Он умер.

— В своей постели?

— Он утонул.

— В таком случае я желал бы услышать подробности.

— Мы плыли к берегу Гвинеи, сэр, и везли ценный груз — хрусталь, медную проволоку и ткани. Поднялся шторм, и нас отнесло далеко на запад. Потом ветры изменили нам, и мы дрейфовали несколько дней. Вся команда страшно ослабела, и никто уже не мог сесть на весла в шлюпки, тащить корабль на буксире. Мы стреляли из пушек, ждали, что от выстрелов поднимется ветер, но воздух точно застыл. Одни говорили, что мы занялись нечестивым делом и судьба решила нас наказать. Поговаривали также, что наш капитан проклят Богом. Мой хозяин молился в своей каюте, но попутного ветра все не было. В море заметили странные вспышки света, мсье. Моряки видели морских тварей с человеческими лицами и призраки кораблей с командами плачущих мужчин. И вот как-то утром, когда море стало похоже на нефть, капитан позвал меня к себе в каюту, благословил, подарил мне на память свою подзорную трубу, а затем вышел на палубу, взобрался на рею и прыгнул в море. Он так и не всплыл на поверхность.

— И ты не пытался его остановить?

— Он не хотел, чтобы мы его останавливали.

— Он обезумел?

Жарба пожал плечами.

— Сколько лет было твоему капитану? Этому несчастному?

— Он примерно вашего возраста, мсье.

Жарба был нанят и сразу подыскал своему новому хозяину французского повара. Тот стоял поодаль, в самой сутолоке, с поварешками и кастрюлями и уверял прохожих, что прежде готовил куриное фрикассе для королевы Франции.

«Теперь, — подумал Казанова, возвращаясь домой в карете с кедровыми сиденьями и дамасскими занавесями, — ключи от особняка у меня в кармане, и я забьюсь в свою городскую нору. Я смогу жить и обедать как джентльмен. Все хорошо. Мир прекрасен». Однако ему хотелось забыть о капитане Жарбы и его долгом погружении на океанское дно. Он боялся, что начнет им восхищаться.

глава 3

Хотя в свое время шевалье провел девяносто семь дней в одиночной камере тюрьмы венецианского дожа, он так и не сумел постигнуть искусство одиночества. Когда он расхаживал по уютным комнатам своего нового дома, его постоянно преследовали приглушенные настойчивые голоса, как будто в его голове спряталась дюжина мужчин в капюшонах висельников. Они стояли на эшафоте и то исповедовались, то обвиняли… А как тяжело было ему видеть этот огромный, раскинувшийся вокруг город, похожий на неразвернутый подарок. Кто эти люди, что снуют у него под дверью и выезжают в своих каретах из величественных зданий напротив? Соблазну попасть в хорошее общество, да и в любое общество, трудно было противостоять. Казанова продержался неделю, а после сдался, его решимость разлетелась вдребезги, как бутафорское стекло. Корнелюс на первых порах восприняла его просьбу о рекомендательных письмах без особого энтузиазма, словно он мог украсть у нее этих людей, а драгоценный список был ее истинным вторым «я», но наконец, моргая и вздыхая,

настрочила необходимые рекомендации. И он не без чувства досадного самообмана стал знакомиться с высшим светом.

В гостиных, казино и ложах опер замужние дамы разглядывали его, будто моль, вившуюся вокруг ламп. Их нарумяненные и спесивые дочери смотрели на него, как кошки на паука. Старики говорили о законах, предках и о том, во сколько им обходятся любовницы. Эксцентричные и порочные молодые люди шли с ним в рестораны, чтобы отведать устриц и шампанского. Казалось, лишь жестокость успокаивала их, этих высокородных юнцов, и они находили утешение в насилии и в игре. Все они писали стихи, успели объездить Европу, повидали Колизей в Риме, а многие посетили и Серениссиму, однако Казанова никак не мог считать их цивилизованными.

Но невзирая на эту душевную грубость, он по достоинству оценил их неугомонную энергию, бесстрашие и резкую смену настроений. Очевидно, эти черты передались юным аристократам по наследству. Один из них, лорд Пемброк, сблизился с Казановой, и между ними завязалась некая дружба. Лорд был богат, хорош собой и щегольски одевался. Он собственноручно брился три раза в день, чтобы многочисленные любовницы — по

словам его светлости, он не мог видеть одну и ту же женщину два дня подряд — никогда не прикасались к его колючему подбородку.

Однажды душным вечером в конце июня Казанова пригласил лорда полюбоваться своим особняком. Шевалье сидел и читал при свете заката, скрестив длинные ноги и согнувшись в кресле. На коленях у него лежала открытая книга — «Метаморфозы» Овидия, напоминавшая таинственный фрукт в плотной кожуре и с нежной мякотью. Как часто ему хотелось съесть книги буквально, а не метафорически проглотить их! За минуту до звонка лорда он прочел о том, как Пелей преследовал морскую нимфу Фетиду и поранил о нее свои руки в заливе Гемония, вцепился в добычу, но она превратилась сначала в птицу, потом в дерево и наконец в пятнистую тигрицу. В этот момент герой вырвался и помчался по берегу с искусанными и разодранными в клочья губами, а его рот был набит мехом и перьями…

— Сейнгальт, — проговорил молодой лорд, обойдя круг по комнате с бокалом в руке. Он выглядел столь хладнокровно, будто явился в костюме из мокрых листьев. — Вы здесь очень уютно устроились.

— Надеюсь, ваша светлость, вы окажете мне

честь и отдадите должное талантам моего повара.

— С огромным удовольствием. Но скажите, вы не страдаете от одиночества?

— От одиночества, милорд? С какой стати я должен страдать от одиночества?

Он открыл рот, словно желая посмеяться над заданным вопросом, но это ему бы не помогло. Несмотря на встречи с разными людьми — а они никогда не исцеляли, — он почувствовал себя в этот момент бесконечно одиноким. Да, в сущности, он всю жизнь и был одинок. Но неужели он начал производить впечатление одинокого и никому не нужного человека? Это его ужаснуло. Он не мог смириться с мыслью, что Пемброк так легко увидел его неприкаянность с высоты своей социальной лестницы. Шевалье собрался с духом и, надеясь, что особая интонация намекнет на загадочную широту души и глубокое безразличие к нуждам обычных людей, произнес:

— Я собираюсь проводить дни в прогулках по городу, а вечера посвящать чтению.

Лорд скорчил гримасу:

— Не думал, что вы такой заядлый читатель, Сейнгальт. Чтение — занятие для тех, кому не хватает ни ума, ни денег для других развлечений.

Как у вас с девушками?

— С девушками, милорд?

— Интересно, вы пользовались успехом? *Я* дам вам билеты, и вы можете их отправить.

— И девушки придут ко мне домой?

— Конечно.

— Это было бы очень удобно.

Почему бы и нет? Ничто не ослабляет мужчину больше воздержания. А с помощью билетов он смог бы удовлетворить свое любопытство и узнать, что прячут под юбками здешние женщины. При этом он избежит презрения какой-нибудь надменной дочери баронета, косящейся на него из-за развернутой газеты, словно на семейного живописца. Отправить билет и вызвать женщину — несомненно, так он и поступит в будущем. Это его *modus operandi.* Казанову вполне устраивал подобный метод.

Лорд Пемброк, которого Казанова снабдил писчебумажными принадлежностями, выписал билеты. На каждом значилось имя девушки, место, где ее можно найти, и ее цена. Некоторые стоили четыре гинеи, другие — шесть, а одна целых двенадцать.

— Кто она такая, милорд?

— Любовница владельца шелкопрядильной

фабрики. Но он спит с ней лишь раз в месяц.

— Понимаю, — рассеянно откликнулся Казанова, глядя на большую топазовую муху, сидевшую на рукаве молодого человека. Пока она не вздрогнула, он думал, что это украшение.

— В Лондоне для богатого человека, не боящегося тратить деньги, никаких сложностей нет, — сказал лорд Пемброк. — Все легко и доступно. Запомните это, Сейнгальт.

Шевалье поклонился в знак благодарности.

Следующим вечером, когда в особняке пробили часы с их молоточками, Казанова швырнул книгу на пол, взял один из билетов лорда Пемброка и отправил Жарбу за девушкой. Он ждал их, стоя у окна, и думал о том, как бы мог быть счастлив, если вместо этой каменной северной улицы с ее чужестранцами увидел бы по ту сторону окна лунный свет, струящийся по поверхности Большого канала, и нос гондолы, поднимающийся и опускающийся, будто отбивает молитвы, и разрезающий лоскутное одеяло воды, и сворачивающий к ступеням родного дома…

Пришедшая девушка на поверку оказалась вовсе не девушкой, а женщиной несколькими годами старше самого шевалье. Он понял это, заметив складки на ее шее и жесткую, чуть дряб-

лую кожу рук. Она сносно поддерживала свой внешний вид, пользуясь белилами, краской для век, румянами и сурьмой для бровей (совсем как Казанова, по-женски любивший приукрашивать себя). Она не говорила ни по-французски, ни по-итальянски. Он очистил для нее грушу и накормил гостью. Она заплакала. Она ела грушу, плакала и что-то говорила.

— Что она сейчас сказала? — спросил Казанова.

— Она сказала, — пояснил Жарба, — что джентльмен напоминает ей ее мать.

Потом привели вторую. Она поужинала с шевалье. Она знала несколько французских слов. Некогда у нее был друг из Франции.

— А откуда именно из Франции, моя дорогая?

— Да, мсье. Из Франции.

Он поцеловал ее запястья. Она спросила:

— Чем вы угостите меня на сладкое, мсье?

Когда они кончили ужинать, она уселась к нему на колени, пощекотала его нос и заворковала с ним на детском, лепечущем, бессмысленном языке. Профессия убила в ней природную сексуальность. От нее пахло убогими домами и гнетущими снами. Казанова кивнул Жарбе, и слуга вывел ее на улицу.

Девушка, стоившая двенадцать гиней, понравилась ему еще меньше прежних. Похоже, она привыкла к разврату с детских лет. Достаточно было взглянуть ей в глаза. Она чарующе смеялась, но пройдет год, другой, пятый, жучки порока сделают свое черное дело, подточат основу, и от нее ничего не останется. Он поиграл с ней, хотя не смог скрыть страха. И лишь занявшись с девушкой любовью, догадался о причине своей боязни — эта связь граничила с инцестом. Он, не считая, дал ей денег. Она поправила серьги и сунула деньги в кошелек.

— Не желает ли мсье познакомиться с мальчиками? — осведомилась она и добавила, что охотно назовет их имена.

— Я пользуюсь услугами мальчиков в определенный сезон, — отозвался Казанова.

Какое-то время они глядели друг на друга. Потом она сказала:

— *Bonne chance, monsieur*[10].

— *Vous aussi, mam'zel*[11].— Хотя оба знали, что одной удачи недостаточно.

---

[10] Примечания: 10
Желаю удачи, мсье *(фр.).*

[11] Примечания: 11
И вам тоже, мадемуазель *(фр.).*

глава 4

Довольно. С девушками по билетам надо кончать. От них можно получить или только то, что ожидаешь, или то, что тебе совсем бы не хотелось получить. Счастливые были просто полоумными, а тоска других навевала на него глубокое уныние, да и любой чуткий человек ее бы долго не вынес. К ним можно пойти, когда огрубеешь душой или ошалеешь от скуки, словно пьяный. Зачем он сделал эту глупость и принял предложение лорда? Уж лучше выбирать самому.

Казанова решил дать объявление:

> Меблированные комнаты на втором и третьем этажах ждут молодую даму, говорящую по-английски и по-французски и не принимающую никаких посетителей ни днем, ни ночью.

Жарба перевел, и в окне гостиной появилось объявление, написанное заглавными буквами. Позднее его напечатали в *«Gazetteer»* и в *«London Daily Advertiser»* 5 июля 1763 года.

В первую неделю откликнулись девяносто две

женщины. Жены, сбежавшие от мужей, куртизанки, психопатки, девушки, только прибывшие из дальних графств на подводах с сеном и чудом не попавшие в руки сводников и юнцов-сутенеров. Казанова вместе с Жарбой и старенькой экономкой миссис Фивер принимал их в гостиной и расспрашивал. Беседы велись по-французски, и потому большинство не знавших язык претенденток отвергли сразу. Других забраковали из-за излишней грубости или, напротив, излишней робости. Больше всего шевалье понравились женщины, искусно старавшиеся его обмануть. Уж он-то хорошо знал, каково все время играть роль, жить лишь словами и ничем больше. Но и среди них он не нашел ни одной, подобной той, которая жила в его воображении. Вскоре идея, прежде казавшаяся такой заманчивой, начала ему приедаться. Он стонал, слыша звонок в дверь, а когда они входили в гостиную, не желал встречаться с ними взглядом. Шевалье с облегчением вздохнул и обрадовался, как только поток ослабел, превратившись в тонкий ручеек, и наконец полностью иссяк.

— Очевидно, — сказал он Жарбе как-то вечером, пока слуга развлекал его театром рукотворных теней на стене гостиной, — объявление сделало

меня всеобщим посмешищем. Вот чего я добился. Уверен, что весь Лондон сейчас хохочет надо мной. Ты не думаешь, что мне нужно выбрать первую пришедшую сюда женщину? Да, да, именно первую попавшуюся.

— Или вторую, — откликнулся Жарба и прильнул к полуоткрытому окну. В застывшем летнем воздухе послышались легкие шаги — кто-то приближался к парадной двери.

В гостиную вошла девушка лет двадцати с небольшим в розовом шелковом платье. Ее лимонно-золотистые волосы были собраны в легкий узел на затылке и украшены белым помпоном с перьями. Нежно-голубые глаза почти сливались с бледным лицом. Из-за этой блеклости ее никак не удавалось рассмотреть: приходилось пристально вглядываться, чтобы составить сколько-нибудь отчетливое впечатление. Жарба подал вазу с апельсинами. Она с удивительной ловкостью очистила один, и в руках у нее остались кольца кожуры. Девушка сказала, что может потратить на себя лишь два шиллинга в неделю.

— Именно эту сумму я имел в виду, — ответил ей Казанова.

— По воскресеньям я хожу в церковь баварского посла, — сообщила она и добавила: — Покляни-

тесь, что не станете меня ни с кем знакомить.

Она заплатила за неделю вперед, и, когда собиралась уходить, Казанова спросил:

— Вы будете со мной обедать, хотя бы иногда? Я-то знаю, как тяжело обедать в одиночестве. К тому же вы сэкономите деньги.

Она переехала к нему. Вещей у нее было немного: дюжина платьев, шахматная доска из слоновой кости, на которой она играла как настоящий профессионал, победив шевалье после четырех ходов, томик Мильтона на английском, Ариосто на итальянском и «Характеры» Лабрюйера на французском. Ее звали Паулиной, она была португалкой, и рассказ о ее прошлом занял несколько дней. В этой запутанной истории упоминались жестокие дядюшки, несчастные судьбы, невзгоды и морские шторма. Казанова внимательно слушал ее, склонив голову, как родной отец или добрый пастырь. Его особенно заинтересовал рассказ о романе Паулины с графом А***, который по не вполне очевидным причинам ежедневно являлся к ним в дом в Лиссабоне под видом торговца кружевами. Воспоминание заставило ее покраснеть. Казанова прекрасно понял девушку. Ему был знаком этот тип: истеричка в лучшем, смысле этого слова, чье главное удовольствие

— в том здоровом негодовании, с которым она наблюдает собственное соблазнение. Ее сестры стали монахинями и преуспели в своем экстатическом служении Господу. Паулина тоже могла бы мечтать о монастыре, где по ночам над ее постелью витал бы призрак Иоанна Крестителя эдаким чичисбеем во власянице.

Шевалье прочел ей отрывок из Ариосто о похождениях Рикардетто и Фьодеспины. Он недоуменно размышлял, уж не влюбился ли в нее, и уверял себя, что влюбился. Давно ли это происходило, и сколько лет минуло с тех пор, когда подобные связи были не просто игрой, щекоткой нервов, фальшивой монетой, а чем-то большим? Они ели вместе и обменивались изощренными комплиментами. Они заказали свои портреты самому модному художнику-миниатюристу Лондона. На Пэлл-Мэлл пригласили Софи, и они втроем разыграли сценку из семейной жизни. Девочка покорно приняла правила игры. За цену в ярд ленты она назвала Паулину мамой, и ее приласкали. Все это было в высшей степени забавно. Захватывающее приключение. Или сделка. Во сне он таскал на спине мешки с углем, но к завтраку уже успевал об этом забыть. Почему бы ему не радоваться, не чувствовать

себя счастливым? Его португалка была истинным ангелом, совершенством во всех отношениях, хотя ее манера есть и действовала ему на нервы. Она подносила к губам персик, словно гостию. И никогда не раздевалась в его присутствии. Ее смущали слуги.

— Мсье, — подражая ей, произнес шевалье перед зеркалом, — даже у любви есть свои приличия.

Когда они во второй раз отправились к мессе на Варвик-стрит, он уже не помнил ее историю. Она внезапно вылетела у него из головы, разрушилась, словно карточный домик, и когда днем, в пору их любовных игр, солнце подкрадывалось к постели, словно старая служанка, а Паулина говорила то ли о своем деде, то ли о бразильской принцессе, то ли о маркизе Х., он мрачно кивал, совершенно забыв, кто они такие, и не собираясь ни расспрашивать, ни уточнять. Иногда он думал, что она намеренно драматизирует свою жизнь. Не лучше ли отнестись к ней как к фарсу? Его начали раздражать ее робкие усмешки и упоение собственными страданиями. Найдется ли кто-нибудь, способный утешить его? Разве он не страдал? Неужели она полагает, что быть Казановой так легко? Он уже много недель не

смеялся и отдал бы сто гиней за добрую венецианскую шутку.

Все кончилось в августе. Она получила письмо от одного из героев ее нескончаемой истории. В конверт был вложен чек на двадцать миллионов португальских рей. Автор письма выражал уверенность, что Паулина по-прежнему свободна и готова по возвращении в Лиссабон выйти замуж за графа А***. Мартинелли воспользовался популярной английской газетой, печатавшей объявления, и помог ей подыскать добротный недорогой экипаж. Шевалье проводил ее в нем до Кале. Теперь, перед расставанием, он искренно гордился Паулиной. В местечке Пляс-д'Армз, спрятавшись от колючего и соленого дождя, который заменил им необходимые слезы, он последний раз поцеловал ее, вложив в поцелуй свое несравненное мастерство, и помахал на прощание платком.

Казанова ожидал, что почувствует истинное облегчение. Но ему сразу стало ее не хватать, не хватать того развлечения, что доставляло ему осознание недостаточной силы собственных чувств к Паулине. И вот представление подошло к концу, он вернулся назад, за кулисы, и сидел с размазанным гримом, отдыхая перед новым

спектаклем.

После ее отъезда он пил в течение часа в гостинице у залива, а потом отправился на судне в Дувр. Ночь была тихая, безветренная, и корабль плавно скользил по зеркальной поверхности вод. Он заплатил пять солов и станцевал под волынку с дочерью капитана. Девушка сказала, что ей пятнадцать лет и она уже устала от морских путешествий.

...

— Итак, синьор, письма, которые вы не смогли сжечь, — не от вашей португалки?

Он покачал головой. Его мозг больше не фиксировал ход времени. Неужели он перестал реагировать на перемены? А может быть, просто уснул? Гостья сидела в кресле напротив него. Старик вгляделся и увидел стол, дверь, очаг, окно. И сразу понял, что, конечно, успел отключиться и проспал какое-то время, потому что огонь в камине разгорелся и в нем пылали уже не бумаги, а дрова, а на столе, очищенном от груды хлама, стояла зажженная свеча высотой и толщиной с детскую руку. Она наполняла комнату шикарным, церковным ароматом качественного воска.

— Синьора, вы должны простить старика…

Назвала ли она ему свое имя? Знаком ли он с ней? Фасон ее платья показался ему несколько старомодным, а вуаль с бахромой, прикрывавшей глаза, была настоящей венецианской *zendale.* Кто знает, вдруг она тоже родом из Венеции и живет в изгнании подобно ему? Он попытался определить, сколько ей лет: двадцать пять? сорок? Но рядом с ним сидела отнюдь не простая,

а вернее, незаурядная женщина, в этом он был убежден. Может быть, к нему явилась княгиня, подарившая Финетт, когда не стало бедняжки Мелампиги?

— Эти письма, синьора, написала женщина, впитавшая ненависть к мужчинам с молоком матери. День, когда я ее встретил, был несчастнейшим в моей жизни. — Он горько усмехнулся. — Все случилось в сентябре. Настала пора первых осенних холодов. Жарба зажег камины. Без Паулины я смирился с однообразным течением дней и почти не выходил из дома, разве что дышал свежим воздухом в саду или отправлялся с Мартинелли выпить чашку шоколада. Если бы человека, любого человека удовлетворяла такая жизнь, скольких опасностей он сумел бы избежать! Но мне она вскоре наскучила, и я, как балованный ребенок, начал мечтать о приключениях, о какой-нибудь захватывающей истории. В этом рассеянном состоянии я как-то встретился на улице с одним давним, но вовсе не близким знакомым. Неким Малинганом, небогатым фламандским офицером, которому я помог в Экс-ля-Шапели. Он остался мне благодарен и по-прежнему был обо мне наилучшего мнения. Уверен, синьора, вы заметили — когда все

преимущества у одной стороны, о равенстве не может быть и речи. Признаюсь, этот Малинган был мне безразличен, и хотя он не однажды приглашал меня отобедать в их доме, я неизменно находил предлоги для отказа. Но теперь согласился его проведать, наверное, от скуки. Я побывал у него следующим вечером, увидел там множество иностранцев вроде меня и не смог скрыть разочарования. Все они жаловались на разные тяжкие обстоятельства и, очевидно, бедствовали, но не старались что-либо предпринять и улучшить свое положение, а значит, не блистали ни умом, ни способностями. Я затосковал еще сильнее и сразу после ужина решил откланяться. Но, встав из-за стола, заметил, что Малинган говорит в дверях с какой-то молодой дамой. Она уловила мой взор, обернулась и улыбнулась мне. Поверьте, синьора, на свете не много подобных улыбок. Я был сражен наповал и понял, что не уйду из его дома, не узнав имени юной красавицы. Однако, сделав несколько шагов, уже не сомневался, что мы с ней прежде встречались…

глава 5

— Позвольте мне представить, — сказал Малинган. — Мсье Ка…

— Сейнгальт, — поправил его Казанова. — Шевалье де Сейнгальт. Но нам нет надобности представляться, потому что мы давно знакомы. Не правда ли, мадемуазель?

— Да, мсье, вы не ошиблись. В Париже вы посадили меня на колени, были очень любезны и поцеловали меня.

— Тогда вы были ребенком, а иначе я бы не позволил себе такую вольность.

— Мне было тринадцать лет.

— А теперь?

— Восемнадцать.

— Да, вы уже не ребенок.

— Нет, мсье.

— Я польщен, мадемуазель, что вы меня запомнили.

Она засмеялась. Как она могла забыть знаменитого…

— Какое имя вы сейчас носите, мсье?

— Сейнгальт. У мужчин может быть несколько имен, мадемуазель.

— У женщин тоже, — ответила Шарпийон и с силой взмахнула крылом своего веера.

— Я вспомнил, — проговорил Казанова. — В Париже вы называли себя Буланвиллями. А быть может, Аугспургерами?

— Аугспургер — это фамилия моей матери.

— Она в Лондоне, вместе с вами? Как она поживает?

— Благодарю вас, мсье.

— А ваши тетки?

— С ними тоже все в порядке.

— Могу я спросить, где вы живете?

— У нас особняк на Денмарк-стрит, неподалеку от церкви Сент-Джайлс. Не собирается ли шевалье нанести нам визит?

— Мадемуазель приглашает меня?

Малинган оставил их наедине. Казанова не отводил от девушки глаз, купая ее в их карем блеске.

— Я слышала, — заметила Шарпийон, — что вы тот самый джентльмен, поместивший объявление в окне.

— Да, и я этого не стыжусь.

— Говорят, что шутка вам дорого обошлась.

— Они ошибаются.

— Но теперь комнаты освободились? Я хотела

бы их занять.

— А ваша матушка одобрит такой поступок?

— Нет, мсье, не одобрит. Но я желала бы проучить автора объявления.

— Он не совершил ничего предосудительного.

— Он оскорбил всех женщин, мсье. Он посмеялся над нами.

— Мадемуазель, уверяю вас, я неповинен в подобном намерении. И вы должны помнить, что здесь я иностранец. Чужой. Меня это устраивает, и я хотел бы оставаться в таком положении как можно дольше. Но ответьте мне, как вы накажете… незадачливого автора?

— Я заставлю его в меня влюбиться, а затем вволю поиздеваюсь над ним.

— Ваш план чудовищен, мадемуазель! И вы столь уверены в своих чарах?

— Вам известна поговорка, мсье: «Некоторые собаки любят, когда их бьют».

— Да, я ее слышал, однако не из столь юных и прелестных уст. Ради чести мужского пола я желал бы доказать, что вы заблуждаетесь.

— И что ж это за честь?

— А какова ваша честь, мадемуазель?

— А вы проверьте, — засмеялась она, — если знаете, где искать.

Они оба натянуто улыбнулись, как незнакомцы, готовые открыть друг другу сердца, или бывшие друзья, ждущие каких-то неприятностей. Казанова достал из петлицы камзола кроваво-красную розу, которую срезал утром в своем саду.

— Красота, — произнес он, аккуратно удалив шипы, — это естественный комплимент красоте. Прошу вас…

Она взяла цветок и повертела его в своей обтянутой перчаткой руке.

— Мсье, — призналась она, — у меня такое чувство, будто я знакома с вами всю свою жизнь.

глава 6

«Аугспургер!»

Он произнес эту фамилию вслух по пути к дому и хихикнул, так что торговец улитками и мальчишка, помощник пекаря, болтавшие на углу Шир-лейн, повернулись, взглянули на него и нахмурились. Что это значит? Разве он только что не встретился с дерзкой молодой женщиной, красавицей с диковатыми манерами? И они не разговаривали почти как любовники? И разве мать этой девушки не задолжала ему шесть тысяч франков?

Вернувшись к себе, он сразу проверил все бумаги, хранившиеся в объемистом атташе-кейсе из зеленой кожи, и после нескольких минут поисков нашел скатанные в трубочки счета и расписки. Эти свитки документов пугали своей мертвой, юридической латынью. И были скреплены печатями, твердыми, как подошвы мужских башмаков. Он одолжил им деньги четыре года назад в Париже. Речь шла о каких-то драгоценностях, и в сделке кроме них участвовал этот женевский мошенник Боломе. Казанове нужно было только подтвердить в суде подлинность счетов и распи-

сок, чтобы засадить всю семью за решетку!

Он знал, что Аугспургеры всегда жили как на биваке, с нераспакованными вещами, и могли скрыться в любую минуту. Поэтому шевалье не стал откладывать визит и направился к ним на следующий день, не желая обнаружить пустой особняк или встретить в нем ни в чем не повинных людей. Дом их находился неподалеку от Пэлл-Мэлл, но Казанова дважды заблудился в путанице улиц и переулков вокруг Сохо-сквер и плутал до тех пор, пока вдруг не понял, что вышел на площадь с противоположной стороны. Добравшись до особняка в пять часов пополудни, он обратил внимание, что короткую узкую улицу покрывали полосы тени, хотя солнце светило еще очень ярко.

Он поднялся в гостиную и поцеловал воздух над рукой мадам Аугспургер.

— Мир так тесен, мсье… шевалье.

— Да, мадам, он не больше мраморной плиты.

Они сели и заговорили по-французски. На огне кипел чайник. Кроме них в гостиной присутствовали две тетки Шарпийон. Издали эти худые женщины с длинными костлявыми руками напоминали двух стражей у врат смерти на египетской погребальной фреске. Одна из них сняла

висевший на шее ключ и открыла ящичек для чайной заварки. Их молоденькая придурковатая на вид служанка накрыла на стол и подала сахар. За окном сгустились сумерки, надвигался вечер. По комнате летала оса. Чует сахар, сказала мать. Нравится ли мсье жить в Лондоне? Не слишком ли здесь много дыма? Надолго ли мсье решил остаться? Ну, хотя бы приблизительно? Тогда, мы надеемся, что он привыкнет к Англии и не будет считать себя чужаком.

Казанова потрепал рукава парадного кремового камзола с вышитыми серебром виноградными листьями. Он выдернул нитку и продолжил беседу, отвечая то теткам, то матери, а потом учтиво обратился к бабушке, которую привела в гостиную служанка и усадила в кресло. Ноги старой дамы на несколько дюймов не доставали до ковра. Он отдал должное экономному ведению хозяйства в доме. Женщины хорошо справлялись со своими обязанностями — тетка номер один аккуратно насыпала заварку в чайник, а тетка номер два следила, сколько угля бросила в огонь служанка. Вещи показались ему изящными, хотя отнюдь не новыми, и походили на своих хозяек. Немолодые дамы выглядели так, словно привыкли голодать неделями, лишь бы их юная нимфа

могла ни о чем не заботиться и наслаждаться остатками былой роскоши.

Подали карты. Стали играть в вист. Казанова сидел спиной к двери и легко, изящно проигрывал. На самом деле он приготовился к тяжелому проигрышу, и хотя ставки, разумеется, назначались пустяковые, разница была невелика. Главное, что он сидел напротив Шарпийон и следил за тем, как вздымаются волны ее высокой нежной груди, а пламя свечей ловит блеск ее глаз. Когда они дошли до последнего роббера и разделили пенни с шиллингами между выигравшими, он насторожился, заметив торопливые взгляды женщин. Шевалье повернулся и увидел трех вооруженных мужчин, переминавшихся с ноги на ногу на пороге гостиной. Он сразу узнал одного из них. Это был профессиональный игрок Анж Гудар. Иногда его именовали «китайским шпионом» — под этим псевдонимом он писал в газеты репортажи о светских скандалах. Двое других были больше похожи на борцов или платных осведомителей. Они представились, назвавшись Ростеном и Кауманом.

Казанова медленно поднялся и поклонился. Давно ли они здесь очутились и долго ли забавлялись подслушанным разговором? Несомненно, их

пригласила мать Шарпийон, как только узнала, что старый кредитор попался в их ловушку. Он снова сел, чихнул и притворился равнодушным, хотя ощутил, как его лицо зарделось от гнева. Выходит, эти червяки на наживке, эти угри, жрущие потроха, решили его запутать? Да как они посмели! Он разозлился и на себя, на время утратившего бдительность. Неужели все приключения его ничему не научили? Неужели он не понял, что за люди эти Аугспургеры, несмотря на имевшиеся у него неопровержимые доказательства? Шевалье отпил глоток холодного чая, съел кусок драгоценного сахара, залпом допил чай и перетасовал карты.

— Партию в пике? Возможно, ваши друзья захотят к нам присоединиться?

Только у Шарпийон хватило ума и такта изобразить растерянность.

глава 7

Он не стал спешить домой и в раздумье прогулялся по улицам мимо освещенных фонарями лавок и таверн. Визит вывел Казанову из равновесия. Он почувствовал, что его, казалось бы, неуязвимого хозяина положения, со всеми козырями на руках, открыто и нагло провели… Это было… нечто невероятное. Почему он пошел один и не взял с собой Мартинелли или Жарбу?

Шевалье остановился и дал проехать траурному кортежу. Ему бросился в глаза гроб, обтянутый белой тканью с плюмажем, и он понял, что хоронят девственницу. За гробом шла женщина, внезапно посмотревшая на него с такой яростью, что Казанова оторопел. Сейчас она накинется на меня с грязной руганью, подумал он, но тут же увидел, что она глядит на всех прохожих не менее беспощадно и сурово. Наверное, ее рассудок не выдержал потрясения и помутился от горя. Ему захотелось ее утешить, но процессия свернула в переулок и скрылась, оставив за собой незримый шлейф тревоги и облегчения. Это медленное шествие стало последним подарком умершей.

Казанова осмотрелся по сторонам и обнаружил, что добрался до церкви Святой Анны. Он открыл дверь, двинулся по проходу, опустился на заднюю скамью и быстро пробормотал «Отче наш». Рай, ад — одинаковый запах церквей. Он совершенно не представлял себе, как выглядит рай, и знал, что не встретит ни одного знакомого среди обитателей райских кущ. Ну а что касается ада, то куда бы поместил его Данте? Во второй круг, где грешников, виновных в пороках леопарда, вечно кружит на холодном ревущем ветру, как скворцов в морозную зиму? Или опустил бы его еще ниже, в ту дальнюю сферу, под лесом самоубийц, где томились сводники, соблазнители, чародеи и обманщики, ибо он в разное время бывал и тем, и другим, и третьим, и четвертым. Иногда он казался себе закройщиком преисподней, да и жил то в одном, то в другом подобии ада — странствовал из города в город, менял скромный арендованный дом на дворец, ночевал где придется, преследовал женщин, добывал деньги и не ведал ни мира, ни покоя. Он никогда не мог сесть за стол, вытянуть ноги и сказать: «Вот он, мой дом». Вечные игры в фаро, наглые выходки, бесстыдные женщины почтенных лет, ревнивые мужья, паразиты и ненасытные сестры.

Казанова окинул хмурым взором потемневшую от спин верующих деревянную скамью. Он до сих пор не привык к Лондону. Город не переставал его изумлять, и он ходил по улицам, без конца поворачивал голову, озираясь и дивясь этой новизне. Собаки, даже голуби чуяли в нем иностранца. Мартинелли недаром предостерегал его, что лондонские правила не похожи на какие-либо другие на целом свете — нужно постоянно быть начеку и улыбаться, словно ты выжил из ума. Если измерять страну масштабом ее противоречий, то надо сообщить министру — в Англии он поистине огромен. Еще вчера по пути к Малингану шевалье столкнулся с хорошо одетыми мужчинами, гурьбой окружившими упавшего боксера. Они равнодушно рассматривали его разбитое, окровавленное лицо, этакий бифштекс с разодранной кожей. Никто не пытался помочь несчастному, да они бы никому и не позволили. Эти джентльмены держали пари, выживет он или нет, и явно не собирались облегчать его страданий. Однако если бы кто-нибудь вздумал задать своей лошади взбучку хлыстом, его бы единодушно осудили и назвали нехристем. Каждый считал себя вправе критиковать правительство, а в Венеции такого смельчака ждали бы арест

и тюремная камера. Однако английская знать обладала властью, немыслимой нигде в Европе. Иностранцев ненавидели, а евреев преследовали даже хуже, чем в германских землях. В то же время Лондон был полон изгнанников, и чем только они не зарабатывали себе на хлеб насущный, за какие только дела не брались! Шевалье познакомился с дюжиной англичан, и они его просто очаровали, но он не знал и даже не догадывался, что они думают и говорят о нем за обеденными столами.

Он пригляделся. В проходе показался старый священник и двинулся к нему. Седая голова плыла над черной сутаной. Казанова перекрестился, встал и, тяжело ступая, побрел на улицу, над которой уже опустилась ночь.

глава 8

Он распахнул ставни в своей комнате и посмотрел в окно. Какой-то господин и его дама, вернее чья-то дама, возвращались из Королевской оперы, направляясь к углу Хеймаркета. Перед ними бежал мальчик с горящим факелом. Для мужчин, промышлявших по ночам, было еще слишком рано. Шевалье негромко посвистел сквозь зубы. Народные песни, куплеты, выученные в детстве. Кто же пел их ему — мать или, может быть, кто-то другой? Ведь Дзанетта бывала у сына не чаще, чем выпадал снег в Салерно. Вероятно, Беттина, младшая сестра доктора Гоцци. Она любила ему напевать, а когда они жили в Падуе и ему исполнилось одиннадцать лет, во время купанья пробудила в нем древнего Адама. Позднее у них начались любовные игры, и она заразила его оспой, так что целую неделю его лицо вздувалось пузырями, будто молоко в кастрюле. С тех пор у него остались отметины — зримая память о болезни, — неглубокие серые рубцы. Он густо пудрил их, но не мог скрыть.

Казанова разделся, натянул на себя ночную

рубашку, носки, ночной колпак, задул свечу и укрылся простынями.

Шарпийон возникла в глубокой мгле, точно дым, и наклонилась над его изголовьем. Это она — ее каштановые волосы, на редкость длинные и густые; искрящиеся радостью голубые глаза и соблазнительно пухлые белые руки. Ее кожа чуть-чуть покраснела, будто она, подобно карфагенской принцессе, спала обнаженной в груде розовых лепестков. А мочки ее ушей! Крохотные розовые раковины с серебряным отливом. Неожиданно ее волосы заструились над ним, словно она лежала ничком на воде и он увидел ее снизу. Шевалье попытался побороть сонное наваждение, и мираж исчез. Он опять насторожился, оперся о локоть и прислушался к ночным звукам.

С другой стороны улицы до него донесся скрип открывшегося окна. Мужской голос отчетливо выкрикнул короткий рефрен, но Казанова не понял слов, зазвеневших в темном городе, как монеты на камнях мостовой. Он подождал, размышляя, не раздастся ли ответный возглас, однако все стихло, и вскоре окно опять захлопнулось.

Когда шевалье проснулся, она была здесь и

улыбалась. Не призрак, а Шарпийон во плоти и крови. Энергия била в ней ключом, и стоявший в дверях Жарба смотрел на нее взглядом столетнего старца.

— Я пришла к вам на завтрак вместе с моей тетей, — заявила она. — Мы должны обсудить одно важное дело. Вы уже проснулись, мсье? — Она дохнула ему в лицо, от нее пахло кофе и молодостью.

— Я полагал, что еще сплю, — откликнулся Казанова.

Он взял ее за руки, усадил и приблизил к себе. Почему бы им сейчас не заняться любовью? Жарба мог бы за ними понаблюдать, а при желании даже присоединиться, но Шарпийон продолжала улыбаться и каждым своим движением демонстрировала мастерство и стремительность фехтовальщика. Она ударила шевалье острием веера по переносице — не сильно и вовсе не собираясь сломать ему нос или веер, но довольно больно, и в его глазах выступили слезы.

— *Malora!*[12] Вы сошли с ума?

— Только от голода, мсье. У вас есть яйца? А холодное мясо? Фрукты?

---

[12] Примечания: 12
Проклятие! *(ит.)*

Жарба достал из ящика чистый носовой платок, и Казанова протер глаза.

— Позаботься о нашей гостье, Жарба. Подай ей все, чего она хочет. Черепашьи яйца, дикого кабана, тушеные гранаты. Какой прок в богатстве, если ты даже не можешь угостить молодую даму ее любимыми блюдами?

Шарпийон удалилась вместе с Жарбой. Казанова окликнул их:

— А что у вас за дело? — Затем поднялся с постели и нагнулся над умывальником, сказав: — Как будто я не знаю.

Он еще не надел колец и зачерпнул горячую, курящуюся паром воду.

Стол накрыли для завтрака. И подали все самое лучшее. Похоже, что женщины действительно проголодались, и в их руках засверкали вилки. Казанова по-прежнему в дезабилье — какой джентльмен одевается до завтрака? или до полудня? — присоединился к ним и залюбовался промасленными кончиками пальцев Шарпийон. Ему нравилось, как она слизывала крошки с губ. И когда они кончили завтракать, он наклонился, взял салфетку и вытер жирный подтек с ее подбородка. Она очень мило подставила ему лицо.

— А теперь мы можем поговорить, — произнес

он. — Умоляю вас, будьте со мной совершенно откровенны.

— Мой дорогой шевалье де Сейнгальт, — начала тетка номер один, — я желала бы рассказать вам о замечательном эликсире. Как-никак мы друзья, и старые друзья, верно, Мари? Мы называем его «бальзамом жизни». Может быть, мсье слышал о нем? Уверяю вас, что везде, где он известен, говорят одно и то же — это настоящее чудо. Сестры и я узнали его рецепт много лет назад, и с его помощью нам удалось преуспеть во Франш-Конте. У него такой нежный запах, и он восстанавливает силы даже у безнадежно больных, на которых врачи поставили крест.

Она замолкла и улыбнулась ему. Он взмахнул рукой, дав ей знак продолжать рассказ.

— Единственная сложность, мсье, в том, что для него нужно слишком много компонентов — розовое желе, шафран, тертый рог, морские коньки. Шевалье просто не представляет себе, сколько всего надо. Да к тому же бутылки, пробки, этикетки… Это огромные расходы, мсье.

— Мадам, я вас прекрасно понимаю. И каковы же примерно эти расходы?

— Прямота мсье делает ему честь. Правда, Мари? Я убеждена, что если речь идет о деньгах,

от женщин нельзя ждать разумных суждений. Однако мне посоветовали вложить сто гиней. Эта сумма покроет все расходы.

— Помилуйте, мадам, кто же ваш добрый советник?

— Монсеньор хорошо знаком с этим джентльменом: шевалье Гудар.

— С Гударом? Ну конечно, если Гудар берется за дело, то безопасность гарантирована. Допустим, я внесу такую сумму, и ваш бальзам, ваш эликсир будет изготовлен. Тогда мы все станем сказочно богаты. Верно, мадам?

Тетка осторожно потрогала свою вышивку на платье. У нее было странное, робкое выражение лица.

— Я приму решение сегодня вечером, — сказал Казанова и повернулся к Шарпийон. — И сообщу вашей прекрасной племяннице, когда она явится ко мне.

Тетка улыбнулась:

— Я пришлю ее к вам, мсье. Ведь речь идет о ее будущем, а я только о нем и думаю.

— И я тоже, мадам.

Они встали из-за стола.

глава 9

Шарпийон вернулась в сумерках. Казанова наблюдал, как она расплатилась с носильщиками, макушка ее головы доходила им до груди. Пройти им пришлось всего-то ничего, а груз их был легок, но отчего-то они пыхтели, как быки. Она отдала им монеты и повернулась к висевшей над дверью кардановой лампе. Когда Шарпийон поднялась по ступеням и поглядела в окно, шевалье скрылся в комнате. В гостиной за столом четверо мужчин играли в карты. Даже в Лондоне Казанова не смог избежать встреч с этими авантюристами из международного полусвета. Когда-то они вместе веселились, устраивали вакханалии, сидели в одних тюремных камерах или забирали деньги со стола для фаро. Едоки чужих ужинов. С ними и сотнями им подобных он побывал в разных переделках от Британии и до Ташкента. Но теперь от этих акул и неотразимых наглецов осталась лишь жалкая оболочка. Их трудно было узнать: худые, циничные мужчины с плохой кожей, верткие, словно змеи. Разве что мрачная бравада — единственная сохранившаяся черта — напоминала об их прошлом.

Жарба объявил о приходе Шарпийон. Когда она вошла в гостиную, мужчины прервали игру. Они отодвинули стулья, встали и галантно поклонились. На ней были платье из переливчатого шелка, чепец с белым пером и длинный алый плащ, который из-за глубокого капюшона обычно называли «капуцинским». Игроки чуть не распяли ее своими взглядами. Казанове хотелось топнуть ногой, швырнуть им в лицо фарфоровые фигурки, но он понимал, что они не способны вести себя иначе. Шарпийон притягивала к себе, как магнит. Из-за такой девушки, из-за такой красоты бог и превратился в лебедя.

— Моя дорогая Мари.

— Шевалье.

Он взял ее руку и поцеловал, на мгновение прикоснувшись кончиком языка к нежной коже.

— Я провожу вас в другую комнату. Мы сможем обсудить там предложение вашей тети. Я все приготовил.

Закрывая дверь, он услышал, как один из игроков в карты произнес:

— Предложение тети? Вот не знал, что это так называется.

Они остановились на пороге, он оглядел кабинет и довольно кивнул. Днем он сумел создать

здесь подходящую обстановку. Погасил лампы, оставив лишь горящий камин и зажженный канделябр на полке. Закрыл ставни, опустил занавеси, и сад исчез из вида. На изящном английском столике с ножками, как у борзой, стояли бутылка шампанского и два зеленых хрустальных фужера. Пробка от шампанского мягко ткнулась ему в ладонь, и он вспомнил, как в первый раз точно такая пробка угодила ему в переносицу, словно пуля. Шампанское со вздохом вспенилось и заструилось потоком серебристых пузырьков. В фужере они превращались в золотистые. Шевалье и Шарпийон отпили по глотку, и она ухмыльнулась. Кончики его пальцев стали влажными.

На столе рядом с бутылкой лежали плотная стопка бумаг и алый восковой сургуч для печати. Он обмакнул перо в чернильницу и написал на первой странице:

Бальзам жизни

аккуратным почерком, выработавшимся у него в юности в юридической конторе Джованни Манцони в Венеции. Далее воспроизводились несколько абзацев из вчерашней «Уайтхолл Ивнинг Пост», которые, на его непросвещенный

взгляд, выглядели достаточно солидно, хотя там вполне могла излагаться и какая-нибудь скандальная история или даже редакционное уведомление о возможности избежать инфлюэнцы, новой болезни из Италии. Шевалье подумал, что Шарпийон, подобно ему, не разберется в этой смеси вульгарной латыни и нижненемецкого. Да и тусклый свет не располагал к внимательному чтению. Он придвинул бумаги, дав ей возможность пробежать по ним взглядом и заметить его подпись крупными буквами в конце последней страницы, а затем усадил в гнездо из мягких подушек, по-прежнему держа девушку за руки. Шевалье и сам еще не знал, с чего начнет. Он прикоснулся к ее руке и провел ею до своего локтя, потом подался вперед и поцеловал самую нежную точку за ухом — там, где подбородок смыкается с шеей.

Она позволила ему на мгновение задержать губы, а потом вырвалась из его объятий и направилась к огню. Ее лицо сделалось темно-пунцовым, и он не мог понять, отчего Мари так покраснела. От скромности? От гнева? От страсти? Полминуты они оба молчали. Она первой сделала выпад, и теперь он должен был его отразить. Шевалье услышал легкий шорох карт в соседней комнате.

— Надеюсь, мсье, что вы сможете удовлетворить просьбу моей тети, — сказала она.

— А я надеялся, Мари, что мы сумеем удовлетворить друг друга. — Как еще он должен был ответить?

— О чем вы, мсье?

— Вам не будет скучно, моя дорогая. — Казанова протянул ей руку, но девушка не сдвинулась с места.

— Я боюсь, мсье…

— Боитесь?

— Что мы не поняли друг друга.

— Обещаю вам, Мари, что ваша тетя все прекрасно поймет.

— Мсье, племянница может совершенно не разбираться в том, что поймет ее тетя.

— Думать так, моя дорогая, просто очаровательно…

— Тетки весьма общительные женщины, мсье.

— А ваша в особенности, Мари. Я уверен, вы знаете — она и ваша матушка задолжали мне деньги. Изрядную сумму. Шесть тысяч франков, если быть точным. Двести пятьдесят фунтов стерлингов. У меня есть счета с их расписками.

Она посмотрела на языки пламени и положила руку на каминную полку, вычерчивая пальцем

маленькие кружки по дереву.

— Мсье, вы говорите не по делу, — заметила она.

— Не по делу?

— Деньги предназначены для бальзама, мсье.

— Деньги, Мари, гинеи, которые просит у меня ваша тетя, предназначены для вас. Они…

— Это подарок?

— Совершенно верно. И конечно, я рассчитываю на ответный дар.

— Но подарки либо преподносят бескорыстно, либо не преподносят вообще.

— Мари, человек дарит что-нибудь тем, кто его осчастливил.

— А я вас осчастливила? Что же, мсье, вам делает честь эта готовность помочь семье бедных женщин.

Она была освещена пылавшим в камине огнем и выглядела почти героически: Жанна д'Арк, противостоящая англичанам в Руане. Выходит, он неверно оценил Шарпийон? В конце концов, он о ней ничего не знал, кроме того, что она молода, потрясающе красива, а ее мать должна ему деньги. Чем были ее сопротивление, отговорки, отказ продолжать игру, исполняя предназначенную ей роль, — искусством опытной кокетки или же

скромностью молодой женщины, столкнувшейся с нежелательными знаками внимания? На минуту он передвинулся, переменил позу и начал массировать себе виски. Он охотно снял бы парик и почесал голову. Очевидно, в его планы, в его расчеты вкралась какая-то ошибка. Он оставил без внимания небольшую, но существенную подробность.

— Моя дорогая…

— Шевалье?..

— Я…

Он понимал, что должен с ней поговорить, смягчить, сломить преграду нежными признаниями, прежде чем овладеет ее телом, но никак не мог подобрать нужных слов. Он слышал их, но был не в силах заставить себя произнести хотя бы одно. Изысканные фразы, лесть, остроты. Казанова чувствовал, что прозвучавший в стенах его головы нехитрый набор банальностей — это, пожалуй, последнее, что ему осталось: его языковые ресурсы заметно оскудели, и когда он в последний раз скажет: «Я обожаю вас» или: «Садитесь, моя дорогая», или: «Простите меня», наступит лишь молчание, бессилие языка, смерть. Покой ли это? Он сделал глубокий выдох, подобно пловцу. Если долгие разговоры приближают

нас к смерти, то пусть будет так. Он беседовал с ней, просто открывал рот и что-то говорил, одна половина его рассудка обдумывала тактику, а другая глядела сверху в бездну и видела сотню Казанов, едущих на колесе своих судеб. С каждым днем на их бровях и носах прибавлялись, требуя выдергивания, новые седые, поросячье-белые волосы. Они понимали, что пик их жизни уже пройден и остается быть Казановой, тянуть эту лямку двадцать или тридцать лет: утомительное, однообразное занятие, от которого хочется лишь по-стариковски брюзжать.

Он встал со стула и направился к ней, его колени скрипели, как голубиные крылья. Она обернулась, и он подумал, что уловит в выражении ее лица эту идиотскую решимость, однако оно показалось ему неотличимым от других, каким-то белым храмом — вместилищем лиц всех его возлюбленных — Беттины, Генриэтты, Морфи, Терезы, Манон, Зоуи, Виктуара, Эцуко, Милагрос, Людвига, Аугусты, Паулины, Катарины, Паскаля, Жюльетты… Неужели он начал стареть и терять вкус к жизни? Почему эти женщины сделались столь похожи друг на друга? А может быть, у него ослабело зрение и он скоро ослепнет? Где-то в глубине его души зашевелилась паника.

Шарпийон недоуменно уставилась на него и переспросила:

— Деньги, мсье?

Он отмахнулся от ее слов, будто от роя насекомых.

— Мы поговорим об этом в другой раз. Возможно, на следующей неделе или еще через неделю.

Казанова бросился к двери, выбежал в коридор и прижал лоб к перилам. Жарба подлетел к нему, будто Ариэль.

— Уведи их отсюда, Жарба. Уведи всех. А потом принеси мне в гостиную вино.

— Синьор?

— Не спрашивай меня, Жарба. Не спрашивай.

глава 10

Все ушли, разбрелись по своим домам. Казанова перевернул карты на столе: валет треф, дама пик, король бубен. Запер дверь. Отворил окно. От реки поднимался туман, он сгущался на глазах, ступал своими кружевными пальцами по лондонским улицам, ткался вокруг деревянных бортов набережной и вился над трубами. Шевалье вздохнул. Он никак не мог успокоиться, и ему не хотелось ни спать, ни больше пить вина. После ухода Шарпийон он осушил шампанское, а затем выпил две бутылки «Шато-лафит» (у англичан имелись не по чину приличные запасы хорошего бордоского). Казанова знал, что вино всосалось в его кровь, но не почувствовал ни радости, ни облегчения от его сладкого груза. Он вновь опустил и запер ставни…

В парке под покровом серебристого тумана шевалье заметил несколько пар. Они совокуплялись открыто, не боясь смутить прохожих. Мужчины врезались в партнерш, словно плуги, а женщины кокетливо охали и ахали. В том и состоит вся сложность с сексом, подумал Казанова, что каждый уверен — уж он-то все сможет. Никто не

считает секс искусством вроде поэзии или выдувки стекла. И его бы это не слишком волновало, не будь он убежден: множество мужчин и женщин занимаются любовью лишь потому, что от них этого ждут. А значит, они исходят из ложной предпосылки. Настоящего интереса у них нет, а зова пола и того меньше. Он сам в лучшую пору мог проникнуть в душу и разум женщины без всякого труда, как проникал и в ее тело. Шевалье знал анатомию не хуже любого скульптора, изучив карты с изображением нервных лесов, озер крови и волнистых саванн кожи. Он умел раззадорить самое робкое создание, устроив пышный пир ее тайных желаний. Но даже он, знаменитый Казанова, относился к себе как к простому новичку и не более. На него произвела впечатление лишь одна пара молодых дионисийцев, почти детей, на все лады извивавшихся в молочном воздухе и стучавших зубами от восторга. Шевалье удивило, что тут же рядом бродила корова с мокрыми от росы копытами. Поодаль ухали совы, а сзади проскользнула лиса. Не было ли там, в парке, волков? Или медведей?

Казанова двинулся к казармам Конногвардейского королевского полка. В полдюжине домов горел свет, проступавший сквозь клочья тумана.

Несколько запоздалых гуляк возвращались домой в застегнутых камзолах, хотя и в этот глухой час держали наготове шпаги или тяжелые дубовые палки. Он миновал Управление по делам лесонасаждений, прошел вдоль высокой кирпичной стены, над которой маячили древесные кроны, и добрался до Уайтхолл-стэйрз. Внизу, под лестницей, на волнах раскачивался лишь один катер. Казанова хотел окликнуть лодочника, но в этот момент у него за спиной раздались шаги, и огромный человек-тень, чуть не сбив шевалье с ног, остановился у кромки воды. Незнакомец собирался сманеврировать и забраться в катер, но Казанова решил его опередить и предложил:

— Мсье! Я бы тоже хотел нанять этот катер. А уж куда мы поплывем, мне безразлично.

Лодочник уставился на них, а человек-тень повернулся. Они несколько секунд глядели вдаль, словно собираясь спеть на три голоса *«Il mondo della luna»* Галуппи. Потом человек-тень, очевидно, убедил лодочника, что иностранец не станет им угрожать, и заговорил с Казановой на изысканном французском языке, хотя и с чисто английским презрением к любым акцентам, кроме собственного.

— Я хочу прокатиться в этой лодке до Темпл-

стэйрз. Если вы не возражаете, я буду рад составить вам компанию.

Шевалье кивнул. Слава богу, во всем мире еще сохранилась великая республика джентльменов. Если она падет, останутся лишь варвары и женщины.

— Мсье, вы проявили любезность, подумав об иностранце, — ответил он. — Я не знаю, где находится Темпл-стэйрз. Но где бы он ни был, уверен, что это замечательный уголок. Мне не спится, и я намерен скоротать томительные ночные часы. К тому же я любопытен.

На реке было холоднее, чем на набережной. Человек-тень решил согреться, взял у лодочника весло и, продемонстрировав мастерство вкупе с незаурядной силой, прокатил их вдоль прибрежных насыпей старого Лондона, гнилых свай и пришвартованных кораблей с мачтами, утонувшими в тумане. Лампы на Вестминстерском мосту роняли свой тусклый свет на воду. Казанова устроился у носа катера, вытянул ноги, закрыл глаза и прислушался к говору реки. Ее журчание, всплески и протяжное шипение не слишком отличались от лепета венецианских каналов, но здесь не было их главной прелести — неповторимого, какого-то задушевного эха.

Увидит ли он когда-нибудь дом своего детства? Освободят ли его старики-инквизиторы, с их единственной страстью к служению государству, от постылого изгнания? Порой он представлял себе, что тайком проникнет в старый город, затаится в четырех стенах и никто не обратит на него внимания… Но это лишь фантазия. Любой страж порядка, прокурор или *confidente* узнает о его приезде через три часа. А еще через час его арестуют. Что бы он теперь ни делал, как бы ни изменился, в своде секретных документов против его имени навсегда останется позорный знак. Когда в 1755 году надзиратель Кавалли провел его по лестнице в камеру под крышей Дворца дожей, он увидел скамью-гаротту. В тот раз он избежал пыток. Но вряд ли ему представится еще одна счастливая возможность.

У Темпл-стэйрз Казанова отвлекся от мрачных воспоминаний и принялся размышлять о таинственных закоулках Лондона. Он уже собирался раскланяться со своим спутником, но человек-тень остановил его и поинтересовался, не согласится ли он посидеть часок-другой в каком-нибудь местном трактире, ну, например, в «Черном льве»; до него всего пять минут хода, если срезать дорогу через Темпл. Шевалье не хоте-

лось отказываться от заманчивого предложения, и его растрогала доброта человека-тени. К тому же их знакомство обещало стать небезынтересным. Двое мужчин тихой, крадущейся походкой двинулись по темным аллеям. Спутник Казановы ни разу не оступился, он знал каждый камень на этом пути и мог бы пройти тут вслепую.

Несколько завсегдатаев-выпивох сидели во «Льве» с кружками и курили трубки. Воздух прогрелся от яркого огня в очаге. Рядом с этим пламенем разлеглась хромоногая собака. Она потянулась, зевнула и окинула пришедших усталым взглядом. Мальчишка провел их к угловому столику, и Казанова поблагодарил судьбу за внезапный поворот событий, суливший очередную ночь приятной беседы и спуск с крутой лестницы его невзгод и разочарований. Он воодушевился, заказал кружку эля и признался, что не смог бы не попробовать столь популярный напиток. Человек-тень наконец избавился от своей тени, материализовался, словно надворный флигель из тумана, и заговорил рокочущим басом. Он заказал лимонад:

— Ничего более крепкого я теперь не пью, мсье. В молодости я успел напиться за троих. Мало кто мог со мной тягаться. Рюмка за рюмкой, бутылка

за бутылкой.

— Неужели, мсье?

Шевалье пристально оглядел нового знакомого. Наверное, тот был старше его лет на двадцать, но все в нем казалось прочным и рассчитанным на долгий срок — и коричневый камзол из старой, обтрепанной по краям, кое-где даже изодранной, но плотной, будто парусина, ткани, и парик, тоже отнюдь не новый, с выгоревшими буклями: по-видимому, человек-тень слишком близко держал свечу при чтении. Он грузно уселся, качнувшись на стуле. А потом чуть слышно просвистел или щелкнул языком и обвел трактир взором победителя.

Мужчины представились друг другу и с увлечением заговорили. Это была не пустопорожняя болтовня, а содержательный разговор, требующий истинного искусства. К счастью, оба владели им в совершенстве. Они так и сыпали эпиграммами, остротами и наперебой цитировали Горация. Казанова хорошо запоминал прочитанное, хотя, как правило, читал лишь в дороге, в душных или чересчур холодных каретах, проезжая ту или иную часть Европы. Или же в редкие часы дневного отдыха перелистывал томики Гомера и Монтескье, лежа на огромной кровати в па-

лаццо, с ноющими суставами после бесовских постельных игр с хозяйкой дома. Многое ему удалось узнать из разговоров, и шевалье не без удовольствия думал, что успел переговорить не с одной тысячей людей. Чаще всего гордиться было нечем — так, банальный обмен репликами, но его разум превратился в настоящий склад, и зерна мудрости из миллионов бесед дали свои всходы.

Теология, история, геометрия Эвклида, архитектура Палладио. Поэзия, пенсии, политика. В руках его спутника была не шпага, а школьная указка. У Казановы загудело в голове, и он ощутил, что его сорочка промокла от пота. Человек-тень не только знал все на свете, но и обладал поразительным чутьем. Он улавливал любую ложь, похвальбу, даже невинное преувеличение. Шевалье устал и подумал, уж не прибегнуть ли к испытанной детской хитрости, вызвав обильное носовое кровотечение, дабы не быть разоблаченным (в чем? в чем же именно?), однако на помощь ему пришел мочевой пузырь собеседника. Они вышли из трактира и отправились к стене на Уотер-лейн.

— Вы, наверное, заметили, что я мочусь, как старая лошадь, — заметил ученый джентльмен, мгновение назад выискивавший ошибки у философов-идеалистов и критиковавший новейших

авторов псалмов, забывших о великих образцах. — Мне то и дело хочется писать. Мой друг, доктор Леветт, говорит, что всему виной почки.

— Если позволите, я принесу вам одно снадобье, — отозвался шевалье, из которого выпитое вытекло довольно узкой струей. — Оно еще никогда не подводило.

Никакого снадобья у него, конечно, не было, но ему захотелось продолжить знакомство. К таким контактам нужно относиться бережно и стараться их культивировать. Он еще не до конца утратил веру в чудо, в дар судьбы или просто в счастливое стечение обстоятельств, даже в нежданное везение. Может быть, предложив это снадобье другому человеку, он и сам сумеет исцелиться? Может быть, искры энергии его спутника вспыхнут в нем, словно после долгого трения? И когда кто-то говорит, будто у него есть чудодейственное лекарство, то всегда добавляет: «Оно безотказно, оно вам поможет, оно вас спасет».

Они вернулись к берегу, взявшись за руки, пробрались между высокими влажными стенами и услыхали — то ли сзади, то ли где-то перед ними — шаркающие шаги или рычание собаки. Лодочник откликнулся на голос человека-тени, Казанова забрался в катер и, стоя во весь рост,

отсалютовал новому приятелю. Он следил за ним до тех пор, пока туман не затянул набережную тяжелой пеленой и они потеряли друг друга из вида.

В особняке на Пэлл-Мэлл шевалье взял перо и записал в своем дневнике:

> Сегодня ночью, в последний день сентября 1763 года, я познакомился с мистером Сэмюэлем Джонсоном. Он живет в доме номер один на Иннер-Темпл-лейн, и его смело можно назвать украшением его страны.

Он погасил свечу мокрыми пальцами и со вздохом лег в постель, высоко взбив подушку. Перед сном, когда дневные впечатления постепенно начали исчезать, превращаясь в облако разрозненных мыслей и полуфантазий, до него опять донесся таинственный выкрик соседа. Почему ему никогда не отвечают? Одинокий клич, совсем как у журавля. Бедняга. Жарба должен выяснить, кто он такой. Дорогой Жарба…

...

Шевалье сидел на большом ночном горшке, скрывшись за ширмой из полурасколотого дерева и сгнившего шелка. Теперь ему приходилось усаживаться в женской позе даже по малой нужде: какой-то затор в его мочевом пузыре превратил некогда приятную процедуру мочеиспускания в настоящую пытку. Ее не смогла бы изобрести даже инквизиция. Он посмотрел вниз, на красный, сморщенный стручок его мужской силы. Его мужской силы! Этот орган между бедрами напомнил ему искусственный фаллос, который маленькая Анджела Калори когда-то давным-давно, в Милане, прикрепила к своему сладкому источнику. С его помощью она смогла работать в разных театрах и дурачить старого священника, блюстителя актерской нравственности. Однако Казанову она не одурачила. Дорогая девочка… дорогая девочка. Все же поразительно, что человек способен помнить события пятидесятилетней давности и забывать, с кем говорил вчера.

— Простите меня, синьора. Я вас долго не задержу, — предупредил он.

— Скажите мне, шевалье, была ли Шарпийон красивее вашей португальской подружки? Красивее Генриэтты или Манон?

— Разве я рассказывал вам о Генриэтте?

— Конечно.

— Когда Генриэтта покинула меня в женевском отеле, она сделала надпись острием алмазного кольца на окне…

— *Tu oublieras aussi Henriette*[13].

— Так, значит, я говорил вам. Но это была неправда. Я никогда о ней не забывал. Она играла на виолончели и коротко стригла волосы. Я преклонялся перед ней, хотя она заставила меня поклясться. Дать страшную клятву, синьора. И я согласился, что не стану ее искать, а если случайно встречу, то пройду мимо, будто мы не знакомы. Мужчинам нельзя предъявлять такие требования, синьора. Никто не сдержал бы эту клятву. А я был потрясен. Перепуган.

Он стиснул челюсти, и из его крупного, сгорбленного тела вылилась тоненькая струйка розовой воды. Старик не удержался и взвизгнул. Финетт просунула голову за ширму. Он кивнул ей и улыбнулся, подумав, что его последним

---

[13] Примечания: 13
Ты забудешь и Генриэтту *(фр.).*

увлечением стала фокстерьерша.

— Ну, а что касается Шарпийон, — проговорил он и набрал в легкие воздух, — как это сказано в «Песни песней»: «Прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами».

— Тогда мне ее жаль, — отозвалась гостья. — Молодость и очарование сами по себе тяжкий груз. Да она вам в дочери годилась.

— Ха! Она только умела кружить мужчинам головы. Старики, спавшие со своими молитвенниками, оживали и смотрели на нее во все глаза. Бродячие собаки бежали за ней по пятам, как свита. И вам незачем ее жалеть, ведь у нее сострадания было не больше, чем у Сен-Жюста или Тальена.

— Однако вы не смогли сжечь ее письма.

Он вернулся из-за ширмы и снова устроился в кресле. Финетт на время изменила ему и легла у огня, а посетительница, скромно сидевшая напротив, улыбнулась и разомкнула тонкие губы. Он поглядел на ее белое, с высокими скулами лицо под вуалью и понял, что когда прикоснется к нему, оно окажется холодным, как утренняя трава или промерзшая земля.

— Я уверена, синьор, что вскоре юная приятельница нанесла вам новый визит.

Будет ли эта рассказанная им история всего лишь очередной — или же последней? Казанова посмотрел на свечу — пламя перекинулось вниз, на сальный обрубок.

— Нет, синьора, ко мне явился посол от Шарпийон, а не она сама…

глава 11

В халате и бархатной феске шевалье сидел у камина. На столе позади него стояла чашка с шоколадом. Он держал в руках первый том знаменитого словаря Джонсона, который Жарба купил днем раньше в книжной лавке мистера Пейна на Патерностер-роу. Какие там прекрасные слова! И даже если он не понял некоторые из них, то мог без смущения произнести в одной из комнат своего особняка. Уютная атмосфера располагала к этому, а чуждая музыка английской речи ласкала слух и обостряла воображение.

Его оторвал от чтения звонок в дверь, и он попытался решить, стоит ли сейчас принимать гостей или лучше передать, что его нет дома. Но в этот момент услышал вежливый, однако энергичный и напористый женский голос. Казанова сразу узнал его. Это была любимая тетка Шарпийон.

Она вошла в гостиную, тряхнув головой и улыбаясь, совсем как некогда знакомая ему настоятельница монастыря, устраивавшая аборты девушкам из богатых семей.

— Мадам…

Шевалье поднялся, торопливо поцеловал даме руку и указал на стул по другую сторону камина. Он послал миссис Фивер за новой порцией шоколада. Тетка чихнула и высморкалась. Она простудилась. И когда чихала, ее мослы гремели, будто игральные кости в стаканчике.

В ожидании порции шоколада они поговорили о погоде, о том, что теперь немного похолодало, стало довольно сыро и, да, мсье, уже потянуло на зиму. Осень в этой стране такая гнилая и влажная. Казанова порекомендовал ей пить для здоровья по утрам стакан шерри с половинкой мускатного ореха. Она также может растолочь орех и выкурить его, если ей так будет приятней.

— Как мсье добр, как он умен. — Она обещала, что пошлет служанку за мускатным орехом, как только вернется домой. Хотя шевалье должен знать, что их дрянная девчонка вечно что-то крадет. Хуже того, у нее, видите ли, завелся ухажер — парикмахер, очень молодой и глупый, хотя мсье должен согласиться, что для девушки, даже страшной как смерть и не слишком чистоплотной, вполне естественно иметь ухажера. Мы не в силах противиться зову природы, *n'est-ce pas?*[14]

---

[14] Примечания: 14
Не так ли? *(фр.)*

Миссис Фивер принесла шоколад и по просьбе Казановы приготовила его столь густым, что в него можно было сажать розы. Шевалье любезно подождал, пока тетка отопьет горячий, дымящийся глоток из чашки. Выпив еще немного, она сказала:

— Вы еще не осведомились насчет Мари, мсье. — Ее голос оживился, в нем возникли заигрывающие нотки.

— Почему, мадам, я должен был обязательно осведомиться насчет вашей племянницы? Мы с ней едва знакомы.

Тетка укоризненно помахала веером и засмеялась, приложив руку ко рту, чтобы скрыть серые пеньки бывших зубов.

— Мой дорогой шевалье, если она вас обидела, то…

— Уверяю вас, она меня не обижала. Как она могла меня обидеть? Она меня ни в коей мере не оскорбляла.

— Мсье, даже не могу передать, с каким облегчением я услышала ваши слова. Мари еще так молода, а молодые люди не всегда знают, как им следует поступать. Но она послушная девочка, и я ею руковожу. Мне ведомы все ее тайные помыслы. Она часто грезит об одном господине.

Казанова оглядел тыльную сторону своих ладоней. Он почувствовал, как участился его пульс, но решил не выдавать волнения. Годы, проведенные за игорным столом, приучили его к сдержанности. Наконец шевалье промолвил:

— Если она выберет время, то может меня навестить. Как вы сами убедились, моя дверь открыта для гостей.

— Но будет ли это благоразумно, мсье? В наши-то циничные времена…

— Что же вы предлагаете?

— Может быть, шевалье сам посетит нас на Денмарк-стрит? Почему бы вам не зайти прямо сегодня? А я позабочусь о том, чтобы она осталась дома.

— Она будет рада меня видеть?

— Я в этом не сомневаюсь.

— Ну, а как наша маленькая сделка?

— Я приготовила для мсье бутылочку бальзама. На пробу.

— Возможно, он мне не понадобится.

Тетка с довольным видом пожала плечами, словно зная, что Казанова у нее в руках, словно зная это с самого начала.

— У бальзама столько полезных свойств, что мсье найдет для него какое-нибудь применение.

— Тогда мы, бесспорно, придем к пониманию, мадам. К примирению.

— Итак, я жду вас сегодня днем, мсье. В четыре часа.

глава 12

Когда она ушла, когда ее запах развеялся в воздухе, Казанова целый час просидел в тревожном ожидании. Он распорядился, чтобы на ланч приготовили суп, язык и яйца, а Жарба тем временем налил воду в ванну. Освежившись в воде и сверкая, как огромная лангуста, шевалье протер грудь бергамотом, надел рубашку и стал ждать прихода цирюльника Козимо. Тот задержатся у другого клиента на Сент-Джеймс-сквер и опоздал на десять минут. Козимо взбежал по лестнице, с трудом перевел дыхание, но при этом оживленно болтал. Он тут же достал полотенце, ножницы и кувшины с ароматическими маслами. Завязал фартук и тщательно выбрил лицо шевалье, умело разглаживая все складочки, не упуская ни единого волоска. Потом занялся париком — взбил его топленым салом, напудрил и завил горячими щипцами. Этот человек был истинным художником: парик с его кожаной подкладкой, казалось, дышал, как сказочная, не умеющая летать птица.

Шевалье занялся своим туалетом, начав с тонкой рубашки с кружевными манжетами, затем

очередь дошла до двубортного жилета из розового шелка с темно-розовой каймой, шелковых бриджей в обтяжку и темно-синего камзола с высоким воротником. Он прикрепил цепочку для часов и цепочку для печати. Надел башмаки с полудрагоценными камнями, купленные в Риме у братьев Пьоваско. Жарба подал ему шпагу на перевязи. Наконец Казанова примерил парик с жидкой косицей и принялся осматривать себя в зеркале. Сколько человек во всем Лондоне могли надеяться увидеть такую фигуру в зеркале? Он приблизился и дотронулся до своего отражения холодными кончиками пальцев. Теперь он и правда великолепен и выглядит безукоризненно, куда лучше, чем в двадцать пять или в тридцать лет. Однако шевалье старался не глядеть себе в глаза, искрившиеся и страстью, и тревогой. Кто же ведет его? Венера или Момус, бог насмешки?

Он позвонил в дверь особняка на Денмарк-стрит ровно в четыре часа. Ему открыла тетка номер один — она приложила палец к губам, взяла его за руку и поспешно провела в гостиную. Все женщины, кроме Шарпийон, сидели в ряд и ткали гобелен — бабушка, мать, тетка номер два и даже девчонка-служанка. В зубах у них были зажаты цветные нити, а на пальцы надеты наперстки;

они окинули его беглым взором, как будто он или другие гости всегда являлись к ним в это время и в доме успели к такому привыкнуть. Женщины ничего не сказали и продолжили работу.

Тетка номер один поднялась с ним по лестнице и предупредила, чтобы он говорил шепотом, ступал как можно тише и не отбивал ножнами арпеджио на перилах.

— Вы уверены, что ей известно о моем приходе? — спросил он. Его не насторожило поведение тетки. Он знал, к каким разнообразным и хитрым уловкам прибегали девушки, но ему хотелось получше ознакомиться с порядками в доме Аугспургеров.

Тетка отмахнулась, словно он задал банальнейший вопрос, и вновь приложила палец к губам. Она остановилась на площадке второго этажа, широко открыла дверь, осторожным, но твердым движением втолкнув шевалье внутрь, и тут же захлопнула ее.

Он очутился в будуаре Шарпийон, сомневаться в этом не приходилось. Вот плащ, в котором она пришла к нему на Пэлл-Мэлл, вот с завитка зеркальной рамы свисают французские бусы, которые были у нее в тот день, когда они встретились у Малингана, а у изголовья кровати стоят

ее туфельки с вышивкой из синего сатина. Он нагнулся и поднял их, оглядел чуть стоптанные каблуки, бледный отпечаток подошвы, отметину на левой туфле, очевидно, возникшую, когда она садилась в карету или какой-то неуклюжий партнер наступил ей на ногу в танце. Он понюхал их, ему захотелось их надеть, но его ноги были вдвое больше.

Казанова откинул угол покрывала, прощупал подушку, вытащил волосок и подержал его на свету, повернув так, чтобы он заблестел и начал виться, как живой. Он обнаружил на туалетном столике клок шерсти, испачканный чем-то жирным и красноватым. Наверное, она воспользовалась им сегодня утром или прошлой ночью и вытерла о него губы. Шевалье сунул руку в карман камзола, затем выдвинул ящики и аккуратно перебрал заколки и ленты, коробки с бусами, дешевые кольца и раковины. Здесь ничего не прятали, никаких кожаных мешочков или подозрительных сластей. Никаких тайных дневников, любовных писем или книг. Он заметил в комнате лишь одну книгу, уютно покоившуюся в мягком переплете. Это был роман, но как только Казанова уселся и взял его, чтобы полистать до прихода Шарпийон, до него долетел звук. Кто-то

пел, словно во сне (где же это было? за дверью, ведущей в раздевалку, или вдали, на подходе к гардеробу?). Он отложил книгу в сторону, двинулся к двери, прижал к ней ухо и собирался было постучать, но его рука непроизвольно повернула медную рукоятку, и он скользнул за порог.

На первых порах он ничего не мог разглядеть. Шевалье стоял в теплом душистом облаке, а из центра этого мирка, из самой его сердцевины доносился плеск льющейся воды.

И тут прозвучал томный голос:

— Тетя, дорогая, дай мне полотенце…

Шевалье на цыпочках подошел к ней и сначала увидел ее волосы — единственный здесь цветной блик, отличный от его синих тонов. Она лежала в ванне, спиной к нему, и ее голова покоилась на подушке каштановых кудрей. Свечи, закрепленные своим воском на деревянном краю ванны, освещали богиню. Ее груди раскачивались, как лилии в потоках золотистой водной ряби, из которой проступали на поверхность молочное колено и бедро. Она выгнула спину, провела рукой по шее и капризно вздохнула:

— Тетя, ну где же мое полотенце?

Казанову подмывало изобразить тетю, чтобы продолжить игру. Он поднес бы ей невидимое

мыло, а она сделала бы вид, будто пена попала ей в глаза. Да, ванная комната располагает к любовным утехам как ничто другое. Пар и плеск, чувственный жар, светящиеся руки и ноги, струи воды. Несомненно, винить в том следует Беттину Гоцци, но какие приятные, какие вкусные воспоминания…

— Шпион!

Она поднялась, уже не как богиня, а как разъяренное животное, выбравшееся из ямы с водой. Торопливо, неловко выскочила из ванны, опрокинула одну свечу и загасила другие — крохотные капли стекали по ее атласной коже.

— Мари!

— И это ваше хваленое итальянское рыцарство? Это? — Она стояла к нему вполоборота, выплевывая слова через плечо, словно вишневые косточки.

— Я не итальянец, Мари. Я венецианец. И зачем прятать свои прелести? Вы же демонстрировали их мне совсем недавно.

— Вы сумасшедший! Сумасшедший и развратник! Я требую, чтобы вы немедленно покинули наш дом.

— Ха, ха, моя маленькая Шарпийон, какая вы отличная актриса. Подобная скромность, пусть

и запоздалая, делает вам честь, но не переигрывайте. Давайте, я вытру вас досуха, а не то вы простудитесь. Видите, как вы вся дрожите.

Она отодвинулась от него, и теперь их разделяла ванна.

— Еще один шаг, мсье, и я закричу. Тогда вся улица столпится у этой двери. Меня предупреждали, что вы опасный человек. Надо было их послушать.

— Моя дорогая, меня пригласила сюда ваша тетя, ваша любимая тетушка.

— Ложь!

Она взглянула на него с подлинным испугом и оскорблением. Шевалье помедлил. Красота стоявшей перед ним девушки была почти неотразимой, но даже сейчас, когда его чувства растворились в блеске этой красоты, он увидел мысленным взором, как сидит у себя дома на Пэлл-Мэлл, читает или притворяется, будто читает, а его вытянутые ноги в носках согревает огонь в камине. Он стал озираться по сторонам, словно решил выйти из ванной, а затем наклонился над деревянной лоханью.

— Вы этого ждали? Что же… Очень хорошо. Я ваш покорный слуга. Идите сюда, и я поцелую ваши ноги. Я буду вашим рабом.

— Почему вы так ненавидите меня, мсье? — Она взяла полотенце и пыталась им прикрыться. Полотенце было довольно маленьким.

— Ненавижу вас? Мари, да я не могу проглотить ни одного куска, не думая о вас. Я ваше творение, ваш…

— Очередная ложь! — Она топнула ножкой по мокрому полу, словно ребенок. — Джентльмен не станет так обращаться с женщиной, которую хоть сколько-нибудь уважает. Прокрасться тайком, оскорбить, унизить ее. Если вы явились сюда, чтобы меня изнасиловать, то давайте, действуйте! Но прошу только об одном, убейте меня сразу после этого!

— Насиловать? Каким же чудовищем вы меня считаете? Да знаете ли вы, с кем говорите? Неужели вы думаете, что я насилую женщин?

Теплая вода просочилась сквозь шелк его бриджей. Он начал чувствовать себя нелепо. Все более и более нелепо.

— Мсье, — проговорила она, отступив в затененный угол ванной. — Я не знаю, что мне думать. Я слишком напугана и не в состоянии мыслить!

Что же это? Он угодил в западню? А вдруг Ростэн и Кауман, убийцы, плодящие вдов, ждут

внизу сигнала и готовы броситься ей на помощь? Можно ли кому-нибудь доверять? Ее глаза засверкали, но он не знал, то ли от слез, то ли от воды в ванной. Настал момент решительных действий, но когда он заглянул в глубь своей души, то обнаружил лишь бессильное раздражение и попытку убедить ее лестью и уговорами.

— Как по-вашему, почему я здесь очутился? — начал он непривычно высоким, срывающимся от волнения голосом. — Вы будете отрицать, что знали о моем визите? Вы скажете, что ничего не ведали о моем появлении в ванной? Что не хотели распалять меня вашей наготой?

— Мсье, — ответила она, — вы провели слишком долгое время в дурной компании, и это наложило отпечаток на ваши мысли.

Почему он не сердится на нее сильнее? Почему откликается на ее выпады без убийственного гнева? Знай он наверняка, что это лишь изящный фарс — а он подозревал обман, — побороть ее сопротивление было бы проще простого. Он мог бы скрутить ее полотенцем, подкупить деньгами и заставить замолчать или надавать ей хороших тумаков и повалить на пол. Ни один здравомыслящий человек не осудил бы его за такое. Но почему он по-прежнему стоит на коленях? Это

— он повернул кольцо на пальце — это последний цветок тех черных семян, что зреют в нем после Мюнхена.

Шевалье стиснул зубы и проговорил, обращаясь скорее к себе, чем к девушке:

— Этого не должно было случиться.

— Вон отсюда, мсье!

Они больше не сказали ни слова, как будто стрелки часов заржавели во влажной комнате, и их обоих выбросило на берег безвременья. Там царила тишина, но отнюдь не спокойствие, и он почувствовал, что, если задержится еще немного, от него останется лишь маслянистое, блестящее синее пятно на полу ванной.

Казанова ступил было за дверь, но оглянулся на Мари, и его глаза налились злобой, сверкавшей даже сквозь пар.

— Когда я увижу вас в следующий раз… — произнес он, — в следующий раз, то… — Но она переиграла его в гляделки, глаза шевалье потускнели, и угроза застряла у него в горле, словно клок белокурых волос. Да, стоит ему пробыть в ванной еще хоть минуту, и его непременно вырвет.

Тетка номер один ждала его у лестницы.

— Не угодно ли чаю, мсье? А бокал вина? Нет? Вы совершенно в этом уверены? Тогда вот вам

бальзам.

Она протянула ему закупоренный пузырек. Сперва он глуповато уставился на нее, потом вынул из кармана стофунтовый вексель. Но тетка, очевидно, ждала шиллингов, и он нашел кучку серебра. Несколько монет со звоном упали на изношенные плитки пола. Попроси она его сейчас снять башмаки, он бы беспрекословно разулся. Шевалье неуклюже протиснулся в дверь, на его коленях проступали темные овальные пятна. Женщины в гостиной продолжали шить.

глава 13

Он всю ночь просидел за столом, боясь лечь в постель и погрузиться в огромный, теплый, меховой мешок сновидений, сменяющих друг друга, точно голодные волки. Казанова пил кофе и решал задачи по теории вероятностей. Когда наступил рассвет, озарив, как на аукционе, вещи, явления и таинственные поверхности мира, пепельно-бледный шевалье прекратил свои подсчеты и подошел к окну. Он знал, что человек стареет не постепенно, изо дня в день, а рывками, и за эту ночь пережил подобный рывок, приблизившись или, точнее, подступив чуть ближе к своим предкам, к их родовому сонму. Позднее, опустошенный от усталости, он попытался над этим посмеяться и прочесть себе лекцию об истинной сущности бытия, поведать о ней Жарбе, стенам и потрескивающему в камине огню. Нужно обладать широким кругозором. Зачем волноваться без повода? Стоит ли бледнеть, как от зубной боли? К чему эти мысли о готовности отравиться?

— Ха.

По правде признаться, он каждый день видит в парке хорошеньких девушек. Милых девушек. Достойных. Не бродяг, не нищенок, не уличных шлюх. Он способен начать все сначала. По всей вероятности, начать с нуля может любой. В городе вроде Лондона избежать встреч с Шарпийон не составит труда. Внезапно шевалье ощутил прилив радости, довольства собой, восхищения силой собственной воли, и после такого обновления день прошел на редкость удачно, хотя где-то после полудня, когда наступает пора чаепития и англичане неукоснительно и с завидным бессердечием соблюдают эту церемонию, он обнаружил, что идет по неизвестной улице, шатаясь как пьяный.

Но его оторопь прошла.

Следующий день оказался легче. Миновала неделя, потом вторая. Мир стал подозрительно нормален. Короткая пауза сомнительного спокойствия, похожая на передышку и обновление сил в военном стане перед неизбежной схваткой.

— Меня зовут, — произнес он, уловив свое отражение в какой-то тусклой поверхности, — меня зовут Казанова.

Но заклинание не сработало, как случалось прежде. Его чары начали иссякать.

глава 14

На сей раз они поплыли вверх по реке: Джонсон-Словарь, Казанова, Жарба и слуга Джонсона Фрэнсис Барбер, молодой человек лет восемнадцати, сын раба с ямайской плантации, подаренный лингвисту мистером Ричардом Бархерстом в 1752 году. Вечер выдался отличный, холодный, но удивительно приятный, и судно скользило в серебристом воздухе заката. Они вели изысканный разговор и добрались до верфей Уоппинга, где шевалье смог осмотреть суда — картина была впечатляющая — и выучить наизусть названия некоторых из них, чтобы потом поделиться с министром не просто своими впечатлениями об английской жизни и манерах, а более ценной информацией.

Они причалили у Воксхолла, заплатили за вход в сады и устроились под деревьями. На ветвях висели бумажные фонари, а на дорожки падали пятна яркого света. Мужчины и женщины играли в тени, болтали и гонялись друг за другом, словно счастливые призраки Элизиума. Некоторые были в масках. Повсюду звучала музыка, и ноги сами шли в пляс. Казанова присоединился

к танцующим у Китайского павильона. Человек-тень добродушно помахал ему рукой и сказал, что уже слишком стар для танцев, но в молодости — истинный бог, мсье! — изнашивал по две пары башмаков за ночь.

Менуэт, полонез, потом контрданс — мужчины топотали, как лошади в пантомиме, а женщины разлетались, будто листья. Когда музыка стихла, музыканты поклонились, не вставая со стульев, а танцоры остались на месте. Они тяжело дышали и разглядывали свои руки и ноги, словно желая удостовериться, что не лишились их во время быстрой пляски. Рядом бил фонтан, окруженный кольцом из тополиных стволов. Казанова наклонился над ним, зачерпнул пригоршню воды и выпил. Затем вытер капельки с губ и… увидел Шарпийон. Она шла по дорожке под руку с Анжем Гударом, и у шевалье не было ни времени, ни возможности скрыться от них где-нибудь в глухой аллее. Шарпийон приятно улыбнулась и со стороны могла показаться спокойной, милой и благовоспитанной девушкой. Он сунул руку в карман и нащупал свой маленький венецианский стилет. Но они играли свои роли не в трагедии, а в комедии или в театре кукол.

— Шевалье! Какая неожиданная встреча! Я

очень рада.

— Мадемуазель. Гудар.

— Похоже, что мы не виделись с вами целую вечность.

— А вот мне показалось, что прошел лишь час. — Он отставил ногу, скрипнув гравием, и был готов обрушиться на Мари с бранью, плюнуть ей в лицо, припечатать обидным словом. Но она не собиралась вступать с ним в борьбу, да и обстановка в садах Воксхолла отнюдь не располагала к ссорам. Она назвала его медведем, прекрасным медведем, самым прекрасным медведем на свете. А потом повернулась к человеку-тени. Не познакомит ли ее мсье-медведь со своим приятелем?

Казанова не осмеливался смотреть ей прямо в глаза и разговаривал с кончиком ее носа, или с подбородком, или с ушами, но даже их было достаточно, чтобы он трясся, будто от проглоченной стаи мошкары. И когда великий лингвист прикоснулся губами к ее руке, словно бык, нюхающий цветущую белую розу, шевалье сделалось не по себе от этой наивной похоти почтенного ученого, и он в ярости отвернулся от них, глядя на оркестр.

— Я проголодалась! — заявила Шарпийон. Она обладала истинным даром молодости — аппети-

том, не зависевшим ни от каких обстоятельств.

— А мы уже уходим, — ответил Казанова.

— Да что вы, мсье. Мы же совсем недавно пришли, — громко возразил Джонсон, и гулявшие в саду услышали его. — Неужели вы позволите нам вернуться вниз по реке с пустыми желудками?

Они направились к павильонам через колоннады. Гудар с наслаждением улыбался и как будто наблюдал за сценой из какой-нибудь комедии Гольдони. Он заказал ужин в отдельном кабинете, где пахло так, словно его недавно использовали не только для ужина, но и для иных удовольствий. Старый сучий запах, мускус сладострастия, даже виолончельный отпечаток женской спины на скатерти. Казанова первым приблизился к столу и поспешно разгладил рукой скатерть, испытав неведомое прежде удовольствие от столь нехитрых жестов. С ним происходило что-то странное, и, когда они уселись за стол, перемены настроения не заставили себя ждать. Наверное, он не просто чувствует, но и выглядит не так, как прежде. Подошвы его ног затвердели, на подбородке выросла щетина, а глаза почернели. Почему люди говорят: «Это только страсть». Разве она не всепоглощающий огонь или мучительная жажда? Разве она не

подчиняет себе рассудок, сметая все его тонкие доводы и уничтожая преграды здравомыслия?.. *Cospetto!*[15] Нашел время для философии, для умствования и ненужной поэзии, когда твои зубы стиснуты, а дыхание клокочет в груди, как вода в кипящем чайнике! Он должен овладеть этой девушкой! Должен! Его не волновало, каких денег, усилий и каких приступов отвращения к самому себе это будет стоить. Казанова пригнулся над столом. Шарпийон следила за тенями зверей, которые Жарба решил показать им на стене. Рука шевалье нащупала ноги девушки, сжала подол платья и нижние юбки. А потом добралась до

чулок

подвязок

кожи, горячей, как лоб ребенка, мечущегося в лихорадке, и прохладной, как серебро в ящике.

В зал вошли усталые официанты. Они принесли бутылки и фужеры, зазвенели ножами и вилками и принялись с подчеркнутой ловкостью накрывать на стол. Шарпийон стиснула колени, придавив руку шевалье. Отчетливо хрустнули кости. Его лицо побледнело. Кровь выступила у него на зубах, а пальцы неуклюже ухватились за

---

[15] Примечания: 15
Проклятье! *(ит.)*

подол ее юбки. Будь это его другая рука, в ее ноги вонзился бы алмазный перстень.

Официанты поставили на стол блюда с закусками — устрицами, тонкими кусками ветчины, напоминавшими облатки, и сластями. Шарпийон безуспешно пыталась отвести взгляд. Она попросила Джонсона осмотреть крошечный синяк у нее на плече, и этот человек, казавшийся таким надежным и уверенным в себе, охотно принялся угождать ее капризу. Казанова обожал великого лингвиста за силу воли, за то, что он не меняет курс в зависимости от каждого ветерка, и не мог поверить, что тот повел себя как любой другой — как Дон Жуан или сам шевалье.

— Цирк, — пробормотал он, не сумев сдержаться. Его голос прозвучал громче, чем ему хотелось.

— Что вы сказали, мсье? — переспросил Гудар.

— Так, ничего. Извините меня. Я что-то себя неважно чувствую.

Казанова вышел из кабинета, из царства древних теней. К ночи немного похолодало. Он посмотрел на свою руку, помассировал костяшки пальцев и прошелся перед колоннадой, понимая, что не в силах ни уйти из Воксхолла, ни вернуться назад. Наконец она тоже покинула павильон. Ему незачем было оборачиваться. Он узнал бы ее

шаги и голос даже во сне.

— Шевалье нездоровится?

Казанова немного подождал, не проронив ни слова. Он глядел на безвкусную площадку и словно видел себя выбирающимся из-за кустарника, — спокойный, собранный, знающий, как надо обращаться с непокорными молодыми особами. Кто-то — кажется, Брагаден? — давным-давно сказал ему, что в любой мысли содержится зерно ее опровержения, а все человеческие страсти не более чем парадокс. Его чувства к Шарпийон были столь запутанны и противоречивы, что он едва не сошел с ума. Чего он хочет, чего желает от нее добиться? Конечно, *этого,* но чего же еще? Помочь ему забыть? Помочь вспомнить? Он представил себе параллельный мир, в котором как ни в чем не бывало ушел бы от нее и медленной, важной походкой победителя направился к реке. Но в этом, земном мире он, к добру или совсем не к добру, словно прирос к земле. Шевалье повернулся к ней, подошел вплотную и, заговорив по-французски, попросил увести его подальше от освещенного павильона в какой-нибудь темный уголок сада, где их никто не заметит. Пусть она посочувствует ему и поймет, что творится у него на душе.

— Осчастливьте меня, Мари. Будьте милосердны, — взмолился он.

— Я сделаю вас счастливым, мсье. Не сомневайтесь.

В первое мгновение от него ускользнул смысл ее слов. Ему померещилось, что деревья подслушивают их и склонили к ним свои ветви.

— Меня?

— Вы будете счастливы со мной. Не сомневайтесь, — повторила она. — Но не здесь. И не так, как вам хочется. Мы не преступники, мсье. Нам нечего прятать.

— Но когда? И как? — прошептал Казанова, ощутив, как слова застряли у него в гортани. — Ответьте мне.

— Я осчастливлю вас, когда вы сделаете счастливой меня. Да иначе и быть не может. Вы должны бывать у нас. Должны быть ко мне добры.

— Обещайте мне, Мари, что это не спектакль!

— Это не спектакль.

— Вы меня не обманываете?

— Не обманываю.

— Тогда покажите, что вы согласны… — Шевалье прикоснулся к ней, закрыл глаза и обнял Шарпийон с юношеской порывистостью. Такого не случалось со времен Нанетты и Марты

Саворньян. Возможно, в ту пору это выглядело чарующе, но сейчас его руки поймали только воздух, а губы прижались к чуть надушенной пустоте.

По дороге домой Джонсон разглагольствовал о недавнем переводе из Тассо, к которому он написал предисловие. И преподнес книгу королеве. Казанове стоило немало труда сохранить спокойствие и не столкнуть его в реку, чтобы голос лингвиста погас, будто затушенный водой огонек. Но они расстались по-дружески, пожали руки и обрадовались наступившей тьме.

— Приходите ко мне. Я вас жду! — пригласил человек-тень, когда его лодка отчалила от Вестминстер-стэйрз.

Шевалье устало улыбнулся, помахал рукой и поспешил вместе с Жарбой домой через парк. Да, такой увлеченности своим делом было достаточно, чтобы у человека появилась вера.

глава 15

— Мсье, вас хочет видеть шевалье Гудар.

Казанова открыл глаза и заморгал на свету. Очевидно, это случилось снова: нежданное-негаданное утреннее чудо.

— Он сказал, что ему надо?

— Он лишь заявил, что долго вас не задержит.

— Ха.

Казанова вымылся, попудрил лицо и по обыкновению принялся разглядывать себя в зеркале. Вероятно, подумал он, надевая на голову феску, ему давно пора привыкнуть к собственному облику. Однако привыкнуть никак не удавалось. И лицо, отражавшееся во время этих одиноких упражнений, лицо святого, похитителя детей, представлялось ему на редкость странным и загадочным.

Гудар стоял в гостиной у камина и раздувал огонь, заставляя языки пламени плясать на углях. Они поздоровались. Гудар усмехнулся. Казанова приподнял брови. Жарба принес вилки и поджаренные тосты.

— Английский вклад в мировую кулинарию, — произнес Гудар, взяв вилку и отломив первый

кусок хлеба с маслом.

Они устроились за столом и съели тосты. Гудар сообщил городские новости, свежие и забавные сплетни. Казанова не смог скрыть любопытства. Похоже, ничто в огромной столице не укрывалось от глаз и ушей Гудара, от его проницательного и юркого, как у ящерицы, ума. Наконец неизбежно, поскольку в этом и состояла цель визита, речь зашла о Шарпийон.

— Вы в нее влюблены? — спросил Гудар.

— Влюблен? — Казанова взмахнул кончиками пальцев. — Разве можно быть влюбленным в такую женщину?

В то утро Гудар показался Казанове меньше ростом и даже не столь обманчиво моложавым. Он смахнул со стола крошки. Хозяин дома проследил за их траекторией и увидел, что они упали на ковер. Гость как будто бросил ему молчаливый вызов.

— Какие бы чувства я к ней прежде ни испытывал, уверяю вас, я уже опомнился и пришел в себя, — произнес шевалье.

— И она вас больше не интересует?

— Я ее презираю.

— Тогда все в порядке.

— Так оно и есть.

— И вы не желаете ее проведать, я ведь знаю, что она приглашала вас в Воксхолле?

— Я бывал у нее слишком часто.

— А если она сейчас подойдет к вашим дверям, вы ее прогоните?

— Непременно.

— Итак, если я скажу, что она стоит на улице и мечтает с вами встретиться…

— Стоит на улице? — Он наклонился к окну и прикусил губу, сразу поняв свою ошибку.

— Боюсь, дорогой друг, — произнес Гудар, дотронувшись до его бедра, — что вы не до конца излечились от любовной лихорадки. Если позволите, я стану вашим врачом.

— Если вы будете меня лечить, Гудар, не думаю, что я долго проживу.

— Вы несправедливы, мсье, однако я желал бы вам помочь. Полагаю, что у нас с вами много общего. И не смотрите на меня с такой оторопью. Я знаю, вы меня презираете. Я для вас — ничто, ведь как-никак мы из одного племени, и вам неприятно видеть своего двойника. Но, мсье, мир велик, и в нем хватит и странных женщин, и богатых дураков для нас обоих. Да и кто знает, вдруг вам когда-нибудь понадобится моя помощь.

— В день, когда мне понадобится ваша помощь,

Гудар, я буду поистине в отчаянном положении.

— Никому из нас, дорогой Сейнгальт, неведомо, как сложатся обстоятельства. Никто не может быть уверен, что судьба не швырнет его на самое дно. Сегодня у вас есть все, что вы пожелаете, или почти все, но что случится в будущем году? Через пять или двадцать пять лет? Разве мы родились в шелковых рубашках? Нет, мсье. Нас спасет лишь природный ум, и с его помощью мы можем выбраться из тупика. Удача идет нам в руки, потому что мы не боимся играть, потому что знаем, как исполнять чужие желания. Простите, но мне хорошо известно, что вы заплатили за этот очаровательный дом и ваши роскошные костюмы деньгами обманутой вдовы. Вы обещали сделать ее бессмертной. Но как можно достичь бессмертия? Не собирались ли вы чудесным образом оплодотворить ее, чтобы в мире появилась реинкарнация этой дамы? Кто, кроме вас, маэстро, мог придумать подобный план? И с каким счастьем она, должно быть, рассталась со своим состоянием.

— У нее и сейчас хватит средств для покупки пяти Гударов, — отозвался Казанова, смягчившийся от воспоминаний о своей проделке.

— Ладно, — заметил Гудар. — Не стоит сейчас

обсуждать историю с мадам д'Юрфе. Я только хотел разъяснить, что мы говорим и делаем все необходимое. Мы не боимся замарать руки. Мы понимаем, что такое игра внутри другой игры. Мы разбираемся в деньгах лучше любого банкира. У нас есть свой, особый стиль. Мы презираем только скуку и ложь.

— Как по-вашему, мы нравимся самим себе?

— Разумеется.

— А если нет?

Гудар взял серебряную чайную ложку и протер ее кончиком указательного пальца.

— Если бы мы не нравились себе, мсье, то наверняка пропали бы. Ведь человек, не любящий самого себя, полон сомнений. А мы выжили, мы существуем, потому что доверяем себе. Когда канатоходец начинает сомневаться, он падает. Когда фехтовальщик сомневается, он погибает. Мы должны бояться сомнений больше, чем стилета.

Казанова откинулся на стуле. Какую превосходную мебель делают эти англичане!

— Возможно, в этом есть своя правда, Гудар, — сказал он. — Ну, а что касается нашего сходства, то позвольте мне заметить, что я предпочитаю большие ставки в игре, да и вхож в лучшее обще-

ство, чем вы.

— Однако сейчас вы общаетесь со мной и, если я не ошибаюсь, с немалым удовольствием.

— Иногда человек должен завтракать с самим дьяволом, Гудар. Но ответьте мне, какова истинная цель вашего визита?

— Я уже говорил, мсье, что пришел как ваш врач. Вылечить вас от этой непредсказуемой, заносчивой, капризной девчонки.

— Да вы о ней и правда нелестного мнения. Но я уже говорил вам, что намерен держаться от нее подальше.

— Я готов предложить вам лучший план. Вкусите ее прелести сполна. А когда вы ею пресытитесь, то сразу сумеете освободиться.

— Когда человек подходит к столу, это еще не значит, что обед ему гарантирован. Если дело так просто…

— Но дело действительно проще простого. Вы ее толком не знаете, а я знаю. Вам известно, что она была любовницей португальского посла Моросини? И я провернул всю эту сделку.

— Вы были сводником?

— Я был посредником.

— А после Моросини?

— У нее были связи с несколькими джентль-

менами. Но ни для кого из них она не стала официальной любовницей.

— Я могу это понять.

— Факт остается фактом, мсье. Вы богаты, а она бедна. Что она способна продать? Да ничего, кроме своей красоты. Что может продать ее мать? Да ничего, кроме своей дочери. Шарпийон — единственный товар всей семьи, и хороший товар, хотя с каждым годом его стоимость должна уменьшаться. Опытная и хорошо сохранившаяся женщина может запрашивать высокую цену в течение нескольких лет. Ведь бывают моменты, когда человеку хочется поговорить с женщиной, за которую он заплатил, а с женщиной постарше беседовать куда увлекательнее. Но юность — самый любимый цветок в нашем саду, юность и красота, в сумме дающие совершенство. Это прелестный цветок, но век его недолог. Мадам Аугспургер об этом прекрасно знает и должна выбрать момент как можно точнее. Ей нельзя продать девушку задешево, но нельзя и запрашивать заоблачную цену. Нам нужно относиться к ним по-деловому. Позвольте мне принять ваше предложение, и я помогу вам, как помог Моросини. Вся сделка займет не более трех дней…

— Моросини вам хорошо заплатил? Каковы

были ваши комиссионные?

— Вот… — Гудар достал документ из внутреннего кармана своего камзола и показал его Казанове: — Видите, мсье. Это подпись ее матери. После разрыва Мари с его светлостью я имел право провести с ней ночь.

— И они, естественно, нарушили договор?

— Да, нарушили. Но девушка все еще несовершеннолетняя, и я не могу подать на них в суд.

— И, несмотря на это, вы продолжаете иметь с ними дело?

— Мне следовало настоять на том, чтобы сперва получить свои комиссионные, а уж потом свести ее с послом.

— И все, что вы не сумели получить у Моросини, вы надеетесь выудить у меня. Благодарю, но не думаю, что пожелаю связываться с ней после того, как она побывала в ваших руках.

— В таком случае я готов отказаться от комиссионных.

— Мне трудно вам поверить.

— Наверное, вы сочтете это странным, мсье, но я желал бы оказать вам услугу.

— Вы только возбуждаете мои подозрения.

— Вы вправе мне не верить, но чем я могу вам угрожать?

— Очень хорошо. Какую цену я должен предложить?

— Сто гиней, и я все отлично устрою.

— Она могла бы принять деньги, когда впервые явилась ко мне.

— Молодые честолюбивы, и лучше иметь дело с женщинами постарше. С ними можно говорить как с мужчинами.

— И вы передадите мое предложение?

— Я отправлюсь, как только вы согласитесь.

— Тогда ступайте.

Повисла пауза.

— Да? [empty link]

— Есть еще одно обстоятельство. — Гудар остановился у окна и дал знак. — Неплохо бы подстраховаться на случай, если она заупрямится, и немного припугнуть…

Через минуту Жарба распахнул дверь в гостиную, и Ростэн с Кауманом внесли какое-то странное кресло. Они поставили его и мрачно усмехнулись, совсем как осквернители могил.

— Его сделали для одного джентльмена, не любившего платить по счетам, — пояснил Гудар.

— Я подозревал нечто чудовищное, — ответил Казанова. Он прошел по ковру, осмотрел кресло и похлопал по его кожаному сиденью.

— Не беспокойтесь. Она не пострадает, — сказал Гудар. — Вам нужно только усадить ее в это кресло, и вы сами убедитесь. Посмотрите.

Гудар сел. Стальные наручники вылетели из деревянных подлокотников и впились в его руки и ноги с такой скоростью, что увернуться от них не оставалось ни малейшей возможности. Зажимы разделили его ноги, а пятая пружина подала сиденье вперед, и Гудар замер в такой позе, будто собирался рожать.

— Я был прав, — заметил Казанова, когда Ростэн освободил Гудара и помог ему встать. — Но все же должен признать, что изобретение весьма хитроумное.

— Оно скопировано с устройства в доме мадам Гурдэн на рю-де-Порт, — добавил Гудар. — Если вы хотите его приобрести, то ответьте мне сразу. На соседней улице есть один человек, который…

— Естественно, — откликнулся Казанова. — И думаю, что о цене можно догадаться.

Кауман засмеялся, вытянув шею, и при ярком свете можно было разглядеть бледные шрамы крест-накрест у него на горле.

глава 16

Остаток утра Казанова занимался делами: сбыл дюжину черных жемчужин, спекулировал на международной цветочной бирже, а потом отправился с Жарбой на Иннер-Темпл-лейн. Было далеко за полдень, однако Джонсон-Словарь еще нежился в постели, очевидно отсыпаясь после ночной работы. Фрэнсис Барбер провел их в гостиную, затем в столовую, а потом в комнату, служившую для всего понемногу, где за столом на стульях с высокими спинками сидели мужчина и женщина средних лет, похожие на заводных кукол, у которых кончился завод. Мужчина в сером камзоле с посекшимися нитями вроде меха старой крысы представился гостям. Его звали доктором Леветтом, и он свободно, без какого-либо акцента говорил по-французски. Приятно удивленный шевалье поинтересовался у доктора, где он сумел так хорошо выучить язык.

— Мсье, — ответил Леветт, — в юности я жил в Париже и работал официантом в кафе рядом с отелем Дье. Тогда мне посчастливилось свести знакомство с хирургами этой огромной лечебницы. Под их руководством я овладел искусством

врачевания ран, стал делать операции и ныне смиренно пользуюсь этими навыками, исцеляя лондонских бедняков. А эта дама — мисс Уильямс. Ее отец, мистер Закария Уильямс, уроженец Уэльса, был талантливым изобретателем. На его счету немало открытий, и в частности прибор для измерения долготы в море. Так что теперь моряки могут спокойно отправляться в плавание, не боясь сбиться с курса.

— Мадам, — произнес Казанова, — я счастлив видеть дочь столь прославленного философа.

Женщина повернулась на звук его голоса, ее синие глаза застилала пелена слепоты. Казалось, она прислушивалась к какому-то отдаленному шуму, возможно к двери, распахнувшейся на Феттер-лейн.

Казанова сел. Жарба подошел к окну. Над рекой проплывали тусклые и по-английски серые облака размером с огромные соборы. Доктор Леветт, очевидно, долгие годы спавший в своем костюме, тщательно протер пятно на бриджах у бедра. По всей вероятности, ни ему, ни мисс Уильямс больше не о чем было вести беседу. Сказав все, на что они решились, оба погрузились в молчание, не замечая гостей.

Шевалье задумался о том, способен ли он

чувствовать себя в обществе англичан легко и непринужденно. Конечно, они богаты, а мужчины всегда были смелы и воинственны, но отчего они так меланхоличны и неряшливы? Возможно, на их характер повлияли и постоянные дожди, и мрачная религия, и нелюбовь к супам. Они хитрее французов, не столь приятны, как голландцы, хотя куда интереснее их, порочнее испанцев, упрямее немцев, лучшие политики, чем итальянцы. Добьется ли он успеха у таких людей?

Сверху донесся скрип. Через минуту к ним спустился Джонсон, огромный, как быстроходный катер, и в маленьком каштановом парике. Доктор Леветт внезапно пробудился к жизни, бросился к своему покровителю и снял с огня чайник, уже давно вскипевший на железной подставке над треножником. Джонсон поздоровался с гостями, тяжело опустился на стул, открыл рот и облизал губы, пока Леветт передавал чайник мисс Уильямс. Она налила чай, расплескав большую его часть по столу, и окунула пальцы в чашки, чтобы проверить, полны ли они. Наконец чашка оказалась у Джонсона, он зажал губами фарфоровый ободок и залпом выпил остывшую маслянистую жидкость, а потом вернул чашку мисс Уильямс, которая вновь с немалым трудом наполнила ее.

Казанова и Жарба принесли пирожные, миндальное печенье в цветной упаковке и испанские апельсины. Доктор Леветт с нескрываемым интересом посмотрел на провизию. Жарба разложил пирожные. Не хотите ли еще чая? Да, чай был нужен, у всех, кажется, пересохло в горле. Но вот в час дня в Лондоне пробили часы, и великий лингвист оживился — его чувства, дремавшие половину ночи и половину дня, вновь вырвались наружу. Он оперся кулаком о стол и тяжело вздохнул, окутав воздух струями пара.

— Почему, сэр, — начал он, содрал кожуру с апельсина и нарезал дольки на мелкие частицы острым ножом, вроде лежавшего в кармане у Казановы…

— Я люблю университет в Саламанке…

и:

— Некогда мне страшно досаждал человек, писавший стихи.

И позднее:

— Сэр, не включать в книгу какие-то подробности лишь потому, что люди могут вам не поверить, бессмысленно.

Шевалье успокоил рассудительный тон лингвиста. Он проникал сквозь слова, как тоник в крепком напитке, и вселял надежду, что мир

по-прежнему стабилен, а самому Казанове не угрожает опасность исчезнуть подобно утреннему туману или невысказанному предложению. Дребезг и мерцание мира, которые он так часто улавливал после Мюнхена, были просто признаком переутомления, конечно, глубокого переутомления, но ничего иного и не следовало ждать после долгих недель болезни и полной неподвижности. Воспаление проникло в кровь, и врачи обследовали Казанову, точно кусок протухшего мяса. Когда человек становится старше, ему, естественно, требуется больше времени для выздоровления. Но сейчас, когда он так нуждался в отдыхе и лучше всего было бы уехать набраться сил в сельской местности, подальше от городских соблазнов, зачем-то ввязался в авантюру, в опасную сделку. Он не имел права в нее ввязываться, даже если ему очень хотелось этого.

Казанова взглянул на свои руки, вывернул ладони и уставился на их линии. Он приехал сюда, на маленький остров, чтобы излечиться, спастись, окрепнуть. Но что он пытался спасти? Какие-то воспоминания, обрывки, роман, мечту. Надо ли ему держаться за свое имя, сохранять собственный стиль? А главное, как теперь выпутаться из этой неразберихи, разорвать

ослепившую его пелену и зажить своим умом? Как-никак он гражданин века Просвещения, а не дикий сицилийский крестьянин, для которого мир полон знамений. Шевалье сложил руки, словно книги, а потом быстро, чуть покраснев от стыда, скрестил пальцы и дотронулся ими до стола на удачу.

Они с Жарбой уже двинулись к выходу. Казанова поклонился доктору Леветту, поцеловал руку слепой мисс Уильямс, но лингвист, аккуратно собравший в карман апельсиновые шкурки, остановил его и спросил:

— Шевалье, вы больше не виделись с этой девушкой? Ее можно было бы пригласить ко мне на чай. Хотя злоупотреблять визитами не следует. Мисс Уильямс этого не одобрит.

Казанова обратил внимание на страстный взор Джонсона, почти такой же, как в Воксхолле. Правда, теперь его немного отрезвлял дневной свет.

— Она вас так восхитила? — с раздражением, горечью и разочарованием осведомился Казанова.

— Да, мсье, — откликнулся Джонсон и передвинулся в кресле. — Вы, наверное, подумали, что у меня иммунитет к женской красоте. И ошиблись. Моя жена умерла одиннадцать лет назад, ее бренная плоть покоится в земле, а дух воспарил

в небеса. Однако, подобно всем мужчинам, я в равной мере и ангел, и кобель. Так вот, живущий во мне кобель не устоял перед девушкой в Воксхолле. Осмелюсь заявить, что вашему кобелю не стоит волноваться. Я вам не соперник. Не бойтесь. Я не украду ее у вас, хотя владею приемами обольщения.

Выйдя из дома на Флит-стрит, Казанова засмеялся переливчатым венецианским смехом.

— Скажи мне, Жарба, что он имел в виду? О каких приемах обольщения говорил? Видимо, он бросает им в глаза волшебную пудру, чтобы они от него не разбежались? Странный тип, какая-то ошибка природы. Пусть сидит, зарывшись в свои книги и в свою этимологию. И оставит *ars amatoria*[16] его знатокам. Неужели он всерьез вообразил себе, что может украсть у меня Шарпийон?

— Да это и невозможно, — откликнулся Жарба. — Пока что вы сами ею не владеете.

— Ты заблуждаешься, мой друг. Теперь с ней будут говорить мои деньги.

Они спустились по Ладгейт-стрит, обогнули собор Святого Павла, зашли выпить кофе в

---

[16] Примечания: 16
Искусство любви *(лат.).*

«Чайльд» и продолжили путь. Казанова прижал к носу надушенный платок, чтобы заглушить вонь от ям на Флит-стрит. Добравшись до Блэкфрайерз, они понаблюдали за постройкой нового моста. Подобно мосту Лэйбели в Вестминстере, его выстраивали с середины реки к берегам, так что недавно воздвигнутый овальный изгиб центральной арки высотой в сто футов выступал из воды, как поднявшийся мамонт, и его серая спина кишела человеческими блохами. Жарба вынул из камзола старенькую подзорную трубу, расчехлил ее, навел на резкость и вручил Казанове. После минутного колебания и мыслей о том, не принесет ли ему новые беды наследство капитана, шевалье приставил к глазу ее медную губу. Яркие краски, потные лица, блоки парбекского камня, веревки, снасти, груды древесины и разные хитроумные механизмы. Посреди толпы он увидел молодого архитектора Милна. Тот сидел за столом с разложенными на скатерти планами, циркулями, транспортирами, перьями и линейками, похожими на странные столовые приборы.

— Погляди, — сказал он, отдав подзорную трубу Жарбе. — Архитектор поглощает воздух. И когда тот испарится, его мост будет готов.

Какой простой, примитивной должна быть жизнь этих рабочих, подумал он, когда они отвернулись и зашагали к дому. Работа, сон. Достойный, бесхитростный труд. Знают ли они, как им повезло?

глава 17

Прошло чуть менее часа после их возвращения. Шевалье уселся в свое любимое кресло. Не успел он разрезать яблоко на четыре части, как дверь неожиданно распахнулась и в гостиную влетела Шарпийон, подобно амазонке. Она чуть не сбила с ног миссис Фивер и, не сводя с Казановы горящих зеленых глаз, сердито выпалила:

— Мсье, я знаю, вы заключили сделку с шевалье Гударом и намерены заплатить сто гиней за нашу ночь любви. Он передал это моей матери. Неужели он сказал правду?

Мари явилась к нему не одна. Ее, как и многих хорошеньких девушек, сопровождала подруга, тоже достаточно миловидная, но заметно уступавшая красавице Шарпийон.

— Добрый день, Мари, — растерянно поздоровался он. — Наверное, мисс…

— Лоренци, — ответила ее приятельница и улыбнулась.

— Лоренци. Прелестно, моя дорогая. Полагаю, что я был знаком с вашей матерью. Наверное, мисс Лоренци лучше подождать в другой комнате, где миссис Фивер угостит ее изысканными

лакомствами и напитками. А вы и я, моя маленькая злючка, сможем свободно поговорить, как старые супруги.

— Супруги! — воскликнула Шарпийон, бросив взгляд на свою подругу. — Да лучше я выйду замуж за моего парикмахера!

Казанова дал знак Жарбе. Мисс Лоренци с явной неохотой позволила увести себя из гостиной.

— А теперь, Мари, давайте вести себя цивилизованно. Почему бы вам не присесть.

Она остановилась у окна и, казалось, затрепетала от дневного света. Немного замялась и устроилась в кресле у карточного стола.

— Могу я сказать, моя милая, какой приятной неожиданностью стал для меня…

— Вы считаете, что я покорно стерплю ваши оскорбления?

— Вы опять об оскорблениях? Ну, ну. Не надо так возбуждаться и негодовать. Шевалье Гудар — ваш друг. Он уже устраивал ваши дела прежде, не так ли?

— Тш-ш. — Она исключила Гудара из разговора, словно он был мухой, попавшей в вино. Надо признать, что она вновь устроила отличный спектакль и разыграла возмущенную невинность. Шевалье не помнил, доводилось ли ему

видеть столь разъяренную женщину прежде. Но на сей раз он не растерялся. Если ее гнев неподделен, то в нем пылают искры страсти, и он сумеет воспользоваться моментом.

— Разве я мало предложил и вам этого недостаточно? — осведомился он. — Что же, я могу добавить еще двадцать пять гиней.

— Скорее я умру от голода.

— Сто пятьдесят. Вот мое последнее предложение.

— Вы думаете, что сумеете со мной торговаться?

— Половина денег авансом. Половина после. Разве это не честная, абсолютно честная сделка?

Она повернулась и как будто хотела его чем-то ударить. Но нашла только колоду карт и швырнула их в него с такой силой, что они разлетелись сияющим облаком, словно голуби, в панике вспорхнувшие в воздух от полуденного выстрела пушки Сан-Маджоре. В ее глазах выступили слезы. Она встала и вновь со сжатыми кулаками приблизилась к окну. Казанова собрал карты, упавшие ему на колени, и другим, уже более мягким голосом произнес:

— Мари, если вы считаете себя обиженной, то я должен извиниться. Я лишь хотел поставить все

на деловую основу.

— Вот как вы называете любовь, мсье? Для вас это сделка? И подобными сделками вы заработали свою репутацию? Великий Казанова, все чары которого в его кошельке и ни в чем больше!

— Ну, а как насчет вашей репутации, Мари? Как быть, например, с послом Моросини? Вряд ли подобный человек мог долго вздыхать у ног девушки.

— Моросини, — ответила она, тщательно взвешивая каждое слово, — был джентльменом.

— Вас продала ему собственная мать.

— Он был человеком чести.

— А вы были для него игрушкой.

— Мсье, это счастье быть игрушкой такого человека.

— В чем же тогда состоял его секрет?

— Вы способны думать только о деньгах и его не поймете.

— Неужели вы столь богаты и презираете мои деньги?

— Я не продаюсь, мсье, ни вам, ни кому-либо еще.

— Мы все продаемся, Мари. Короли и императрицы продаются по точным ценам.

— Кто же купит вас? И сколько это будет сто-

ить?

— Я старше вас. И, соответственно, моя цена выше.

— Если цена возрастает с годами, то я уверена, вы заплатите двести гиней, чтобы посидеть на диване с моей матерью. И, возможно, цена моей бабушки — тысяча гиней?

— Какой вздор вы сейчас несете.

Что за черт! С какой стати она устроила этот спектакль, принялся размышлять Казанова, глядя на ее ходящие ходуном плечи. Сделка — просто другое определение «любви». Ни один мужчина не потянется к женщине в восемнадцатом веке без меркальтильных соображений, пусть самых тонких и изощренных. И кто знает об этом лучше Шарпийон, выросшей в такой семье? Однако он не относился к разряду мужчин, всегда платившх за женскую страсть. Когда-то и женщины платили за его услуги! Оставляли кошельки под подушкой и получали удовольствие, одевая его в камзолы, которые он никогда бы не смог купить сам. Они показывали его, будто приз, и тогда он действительно был призом — молодой человек с жадным, безграничным вкусом к жизни! Ну, а Моросини, по всем отзывам, походил на жабу. Невероятно, чтобы он мог привлечь к себе

молодую женщину каким-то редким обаянием, отсутствовавшим у шевалье.

Казанова встал, направился к ней и остановился сзади, не дотронувшись до Шарпийон. Он не видел ее рук, и внезапно у него мелькнула мысль: станет ли он сопротивляться, если она сейчас повернется к нему с шляпной булавкой или ножницами и вонзит их в его сердце? Он тысячу раз проигрывал такие сцены в своем воображении — у тысячи окон, с тысячью девушек. Ему захотелось по-детски скрестить пальцы и сказать: «Мир».

Его руки легли ей на плечи. Она даже не шевельнулась. Он ощутил тепло ее кожи, и на несколько секунд они застыли в этой уютной позе. Почти безымянные зрелый мужчина и молоденькая девушка. Любой посторонний наблюдатель решил бы, что это старые друзья, может быть дядя и племянница, праздно разглядывающие экипажи за окном.

Наконец она тяжело вздохнула и обернулась к нему. Ее глаза утратили зеленый блеск и вновь сделались голубыми, словно вода с серебристым отливом.

— Если бы вы только знали, мсье. Если бы вы знали…

— Что я знал, моя голубка?

Она посмотрела на его шею.

— Знали, что я вас просто обожаю. Я полюбила вас с той минуты, когда впервые увидела маленькой девочкой в Париже, а вы даже не взглянули на меня. Тогда я не блистала красотой.

— О Мари, вы были прекрасны даже в ту пору.

— Можете мне не поверить, но вы — первый мужчина, видевший мои слезы.

Он не поверил, но тем не менее был очень доволен.

— Моя маленькая попрыгунья, почему вы не представили мне доказательства ваших чувств? Я уже было решил, что вы меня презираете. Вы меня в этом почти что убедили.

— Потому что я надеялась…

— Да? — Каким тонким голосом она сейчас заговорила!

— Я надеялась, что вы начнете ухаживать за мной достойно и благородно.

— Достойно и благородно?

— Да, достойно, мсье. Я не хочу ваших денег.

— Это был Гудар, Мари, и он…

— Гудар ничего не смыслит в любви, мсье.

— Это верно. Он насекомое.

— Он друг моей матери. Я с ним почти не раз-

говариваю.

— Разумеется.

— Если бы вы приходили ко мне каждый день или через день, брали меня с собой в оперу, или в сады, или на прогулки верхом по предместьям, ну, например, в Ричмонд, то я бы вам свободно отдалась. Ради любви.

— Вы любите меня, Мари?

— А вы еще в этом сомневаетесь, мсье?

— Нет, дорогая, только в себе, за то, что я был таким глупцом. Я…

Он не мог поверить в свои слова и даже в то, произнес ли он их, однако это был особый, драгоценный момент, и предаваться размышлениям насчет правды или лжи не имело смысла. Он глубоко сомневался в ней, но волнение не позволило ему об этом сказать. Она нежно смотрела на него и словно светилась, как мадонна Перуджино.

— Так вы придете? Вы будете ухаживать за мной достойно и благородно? — прошептала Мари.

— Как Гиппомен за Аталантой.

— И я больше не услышу никаких разговоров о деньгах?

— О деньгах, моя дорогая?.. — Из-за двери долетел запах свежего кофе. Повар приготовил его по

тайному рецепту шевалье из свежих зерен, только что разгруженных с кораблей Вест-Индской компании. Внезапно ему захотелось прервать разговор, остаться одному в комнате, сесть в свое любимое кресло, выпить глоток черного золота и помечтать о…

— Вы не желали бы немного освежиться?

— Нет, мсье. Я еще слишком взволнована.

— Ну, конечно. Хорошо, тогда…

— Да…

— В следующий раз…

Им больше нечего было сказать друг другу. Он проследил из окна, как она вышла, держа под руку мисс Лоренци, и они направились к «Пейнтид-Балкони-Инн». Встретившийся им человек в красном камзоле, вероятно солдат, снял шляпу и что-то произнес. Девушки засмеялись и неторопливо продолжили путь. Когда Казанова повернулся, Жарба собирал разбросанные по полу карты.

глава 18

Это уже вошло в привычку: каждое утро Казанова и Жарба покупали подарки на Стрэнде или на Ладгейт-Хилл. Они никогда не выходили из дома безоружными, зная, что банды мальчишек-головорезов постоянно грабят богачей на улицах и срывают с них драгоценности среди бела дня, а порой и убивают. По возвращении домой они распаковывали свертки на обеденном столе, и шевалье поднимался наверх, чтобы поменять камзол, пока миссис Фивер разбивала в хрустальных фужерах свежие гусиные яйца. Вскоре в доме появлялся цирюльник Козимо. Жарба вызывал портшез. После двух часов пополудни свежевыбритый и надушенный Казанова снова покидал свой дом и садился в замшелый кожаный экипаж. В нем пахло так, будто последний пассажир пускал ветры всю дорогу от Пикл-Херринг-сквер до парка. Аугспургеры ежедневно разыгрывали короткий фарс — удивлялись визиту шевалье, принимали подарки, предлагали погреться у огня и умело льстили.

Во второй половине дня они прогуливались по городу. Осмотрели больницу в Гринвиче, побы-

вали в суде Олд-Бейли и выслушали смертный приговор женщине, обвиненной в краже. Мера была столь суровой, потому что товары стоили больше пяти шиллингов. А однажды отправились в Ковент-Гарден на «Артаксеркса», взяв с собой Сэмюэля Джонсона и его приятеля, экспансивного молодого шотландца с лицом, похожим на бутон бордового тюльпана. Казанову позабавило, что во время пантомимы этот знакомый лингвиста попытался передать записку Шарпийон. Иногда они любовались петушиными боями в «Грей-Инн», где лорд Пемброк следил за своими пернатыми питомцами в железных доспехах. Или слушали модного проповедника в соборе Святого Павла и платили шиллинг сопровождающему, который шепотом сообщал им титулы и состояния лондонской знати. Они успели посетить и Ричмонд, и дворец Сент-Джеймс, и Ньюгейтскую тюрьму.

Они две недели путешествовали по городу, тратили деньги направо и налево и развлекались, устраивая этакий пир во время чумы. Все приободрились, даже бабушка Аугспургер, на которую в Ковент-Гардене упал с галерки яблочный огрызок и больно ударил по макушке. Шевалье заметил, что она густо набелила лицо

и вставила деревянные зубы, стучавшие за едой, точно кастаньеты. Но, несмотря на дорогие завтраки, подаренные броши и отрезы испанского индиго, Казанова не мог похвалиться успехами. Пожалуй, Шарпийон чаще, чем прежде, улыбалась ему своими дежурными улыбками, да еще он получил разрешение целовать девушке руку в присутствии всей семьи, взиравшей на него с нескрываемым любопытством.

Таков был ничтожный результат его запутанной игры, и однажды вечером, перед уходом с Денмарк-стрит, шевалье понял: еще день-другой, и он не выдержит походов в театр и объяснений с лондонскими продавцами, ненавидящими иностранцев. Он просто сойдет с ума и в ярости убежит со своим маленьким венецианским кинжалом. Казанова без церемоний спросил у мадам Аугспургер, рядом с которой стояла ее дочь: «Когда же это случится, мадам? Когда наступит давно обещанная мне ночь блаженства?» После долгих колебаний, притворной растерянности и нервных смешков хозяйка дома пригласила его назавтра на званый ужин и добавила, что, если это его устроит, он может остаться у Аугспургеров на всю ночь.

На следующий день шевалье очнулся от после-

полуденной дремы, не зная, что его разбудило — то ли шорох листьев за окном, то ли какие-то другие звуки. Когда он открыл глаза, пробило пять вечера, и тут же раздался приглушенный звон часов на стене кофейни «Смирна». Он поднялся, потер лицо и подошел к окну. С востока наплывали вечерний дым и первые ночные облака, а на западе последние лучи солнца косо скользили между зданиями и ложились вдоль улицы пыльными, золотистыми полосами. Жарбы не было видно, и в доме не ощущалось никаких признаков жизни. Казанова сам зажег лампы и поднялся с одной из них по лестнице в свой кабинет. Он думал только о том, какое небывалое удовольствие получит от юного и сладкого тела Шарпийон, как они сольются в объятиях и их плоть зазвенит от экстаза. С годами он все реже и реже испытывал это чувство. Шевалье достал из ящика стола затрепанный и покрывшийся пятнами томик «Поз» Аретино с иллюстрациями Джулио Романо и собственными многочисленными пометками на полях. Устроившись у окна с лампой в одной руке и книгой в другой, он принялся отбирать и мысленно воспроизводить с давних пор любимые им картины: «Осада Трои», «Обезьяна на спине льва», «Копи царя Соломона»,

«Полный дом», «Бриллиант в колодце». Начать он решил с «Танцующих лебедей», виртуозности ради соединив их со «Стенами Иерихона» или «Двумя мужчинами, входящими в дом. Один из них остается», или даже, если девушка молода и здорова, с «Одиссея, перехитрившего Циклопа».

Казанова вернул книгу в ящик и стал нашаривать свои «лондонские плащи» из овечьих кишок. Они были высушены и промаслены. Последний комплект он купил в Марселе по три франка за штуку. Но, конечно, они портили всю игру и лишали мужчину наслаждения, превращая радость в скуку, потому что в самый разгар акта от них начинало нести жареной бараниной. После неприятности с Ла-Рено — это он пятый или шестой раз заразился? — Шевалье поклялся, что впредь будет осторожнее. Еще один такой приступ, и ему конец. К тому же он не желал производить на свет очередную Софи, хотя вполне мог гордиться этой девочкой.

Вспомнив о ней, он ощутил какой-то непонятный, смутный стыд, словно она стояла в углу кабинета и следила за ним своими большими невинными глазами, постепенно привыкавшими к порочному взрослому миру. Интересно, что она подумает о нем, своем папочке, большой, раз-

ряженной кукле, шарящей в ящике в поисках… А, вот они. Он сунул в карман плаща два маленьких засаленных конверта, погасил лампу и вышел из комнаты. Для визита к Аугспургерам было еще слишком рано. Ему стоит часок погулять по парку. Нет, ребенок этого не поймет, нечего даже и ожидать.

Когда он появился на Денмарк-стрит, гости уже съехались к Аугспургерам. Шевалье увидел и Ростэна, и Каумана, и Гудара, по обыкновению улыбающегося какой-то затейливой шутке. А вот Шарпийон в тот вечер было не узнать. Она оделась скромнее скромного, в простенькое платье, без украшений — этих крохотных знамен соблазна, и не стала румяниться, впервые показавшись Казанове поблекшей и не столь привлекательной. Они поздоровались в холле. Прозвенел гонг, и все уселись за стол. Кухарка Аугспургеров не отличалась талантами, но сегодня шевалье обедал, словно в замке маркиза де Карраччиоли. Шарпийон с жадностью набросилась на поданные блюда, и он не отводил от нее радостных глаз, поскольку еще не видел, чтобы жареную рыбу уплетали с таким восторгом. Ее мать и тетки болтали без умолку, как черепахи, совы или вороны, и наполняли его бокал водянистым вином. Гудар

стиснул под столом ноги одной из теток, и она обомлела от удовольствия. На стол подали сласти — что-то серое и твердое, как подошва. Служанка забывала снять нагар со свечей. Она стояла у буфета с открытыми глазами, но, очевидно, спала.

В полночь первые гости начали расходиться. Мадам Аугспургер сделала вид, будто хочет налить Казанове кофе, и шепнула ему на ухо: «Не считаете ли вы, что для приличия вам лучше будет выйти вместе с другими и вернуться, когда в доме все стихнет?» Он кивнул. К чести этой дамы, она не отвергла все полученные подарки, а возвратиться украдкой будет просто замечательно. Облака рассеялись, и луна уменьшилась до размера кончика мужского пальца. Казанова довольно вздохнул и подумал: такие приключения невозможны без игры, уловок, без театральности.

Когда он с деланной серьезностью распрощался с гостями, то двинулся вместе с Жарбой к церкви Сент-Джайлс, дважды обогнув ее и какую-то минуту постояв в тени.

— Вы хотите, чтобы я подождал у дома девушки? — спросил Жарба.

Шевалье покачал головой, нагнулся и нежно поцеловал слугу в губы.

— Оставь дверь открытой, Жарба. Не жди меня

и пожелай мне удачи.

Женщины все еще сидели в столовой, освещенной лампами цвета залежавшегося масла. Служанка с идиотским выражением лица убирала со стола. Неужели кто-то в этом мире способен прожить без капли разума, мелькнуло в голове у Казановы, и он задорно подмигнул ей, но она не обратила на него внимания и медленно прикоснулась к свечам. Шевалье повернулся к матери Шарпийон:

— Где это произойдет, мадам?

Она указала на стену, отделявшую столовую от гостиной. Мари стояла в стороне, разглядывала свои ногти и хмурилась.

— Мсье, — сказала мадам Аугспургер, встревоженно переминаясь с ноги на ногу, — шевалье Гудар упомянул… определенную сумму. Я полагаю, мы могли бы выбросить из головы… Мне неприятна сама эта тема… Если вас не затруднит… До ухода…

Шарпийон торопливо встала между ними. Она посмотрела на мать, взяла Казанову за кружевные манжеты, словно он был хрупок или не слишком чист, и повела за собой по темному коридору. В гостиной на каминной полке горел один-единственный светильник. Мебель отодви-

нули к стенам, а постель расстелили на полу. Он хотел было спросить, почему они выбрали гостиную, а не ее комнату, но вопрос так и не сорвался у него с языка. Не важно. В подобном состоянии он согласился бы провести с ней ночь даже в кладовой, как уже не раз случалось в прошлом с другими возлюбленными.

Камин не был зажжен, и в комнате веяло сыростью и прохладой.

Казанова простер руки, собираясь обнять Мари. Она улыбнулась и указала на постель. Он разделся, сняв все, кроме рубашки, чтобы совсем не замерзнуть. И забрался в кровать, укрывшись сырыми, с затхлым запахом, простынями. Шевалье вытянулся, пробормотал что-то про алтарь блаженства, а затем лег на бок и оперся о локоть, наблюдая, как Шарпийон управлялась с застежками и струнами корсета и скрытыми от глаз пуговицами платья. Ее одежда соскользнула на пол. Теперь она была полностью обнажена, и ее кожа светилась, как сыр маскарпоне или мякоть свежесорванного яблока. Однако он наслаждался этим потрясающим, пронзившим все его существо зрелищем лишь несколько секунд. Девушка тут же облачилась в ночную рубашку, окутавшую ее с головы до пят. По-видимому, эту просторную,

вышитую хламиду носила еще ее бабушка, и Шарпийон извлекла ее из сундука между окнами. Странное место для хранения ночного белья.

Мари приоткрыла отверстие в фонаре и задула свечу. Шевалье попросил ее оставить хоть немного света. Неужели она хочет лишить его столь восхитительного зрелища?

— Я не могу спать при свете, мсье.

— Спать?

Он почувствовал, как она в темноте юркнула в постель, немного подождал, прислушался к ее дыханию и наконец окутался облаком ее тепла. Казанова пододвинулся к Шарпийон, протянув руки во мгле. Обхватил теплое, словно кровь, одеяло и нащупал твердый изгиб плеча. Как она молчалива! Как спокойна! Будто ребенок, играющий в прятки!

Он прошептал ее имя. Непонятно, в какой позе она улеглась. Подобравшись к ней вплотную, он догадался, что ее колени подняты, как щиты. Она скрестила руки на груди и опустила голову, уронив подбородок на грудь. Казанова улыбнулся, уверив себя, что это постоянное поддразнивание восхитительно, просто восхитительно.

Он дотронулся до нее сквозь броню ночной рубашки, нырнув головой под простыню, и его

губы отыскали незащищенный участок кожи для поцелуя. Но от волнения он поцеловал собственное плечо под черным ворохом простынь. От него еле уловимо пахло уксусом, и этот промах доставил шевалье какое-то извращенное, сверхэгоистическое удовольствие. Но Шарпийон упорно ускользала от него, и он сумел ухватить лишь ее руку. Потом попробовал легким движением приподнять ее голову. И снова, уже не столь легким и осторожным…

— Ну, хватит, — произнес он, изо всех сил стараясь сдержать волнение. — Распалять страсть различными препятствиями, конечно, хорошо. И я способен оценить ваши старания, как ни один мужчина на свете. Однако пришла пора…

Он осекся. Если бы не прикоснувшиеся к ней кончики его пальцев и не тонкий аромат жасмина, он мог бы вообразить себе, что остался в комнате один. Казанова попытался перевернуть ее на спину. И не сумел. Понадеялся расцепить ее сжатые руки, но она так плотно сдавила их, будто от этого зависела ее жизнь. Он ненадолго улегся, глядя в пятнистую темноту и мучаясь от холодящих кровь предчувствий. А что, если? Но это было немыслимо… Ни сама Шарпийон, ни ее мать не решились бы на такой обман. Скорее

всего, она лежала здесь и ждала от него нежных признаний, слов, подобных сладким ключам, которые наконец разомкнут ее тело. А может быть, она хотела, чтобы он овладел ею насильно? Некоторые любят грубые игры. Амазонки и спартанцы. Схватка тигров.

Он сел, снял рубашку и взялся за дело всерьез. При всей хрупкости, она обладала невероятной силой. В тот момент, когда он схватил ее за руку и собирался дотянуться до второй, девушка отпрянула и вырвалась. Он был обречен бесконечно повторять одни и те же движения. Просто сизифов труд. Шевалье беспомощно копошился у тела Шарпийон и успел вспотеть от натуги. Он приподнял ее, уронил и зарылся под покрывала. Если бы он обнаружил подол ее ночной рубашки, то освободил бы ее от этой брони и раздел. А когда она обнажится, он без труда разожжет ее страсть, и она перестанет сопротивляться.

Казанова отыскал ее ноги (в этой игре не было простых правил). Она завернула их в ночную рубашку, подол которой подоткнула под себя, зажала между коленями, не оставив и щелочки. Распалившись от гнева, он вырвал из одеяла клок шерсти; тот застрял у него в зубах. Шевалье зарычал, как мастиф, широко раскрыл и едва

не вывернул челюсти. Вскочив с постели с этим мокрым куском во рту, он выплюнул его и перешел в наступление — с силой затряс Мари, ударил ее раз, другой. Но она даже не шелохнулась. Он прикрикнул на девушку, наклонился пониже и прижался лицом к ее прекрасным, шелковистым волосам, словно пронизанным электричеством. Шевалье кричал на нее по-французски, по-итальянски, по-венециански. И в отчаянии припомнил характерные словечки из словаря человека-тени:

— Тухлое яйцо, синий чулок! Лицемерка!

Никакого отклика.

Он вновь выбрался из кровати и голый прополз по полу, стукнувшись головой о стол. В темноте легко можно было превратиться в истерика. Ему казалось, что он пробыл в этой комнате уже несколько дней. «Я должен успокоиться, — подумал он. — Должен понять, что случилось. Я должен составить план…» Через минуту он опять забрался под одеяло. Пожелал ей спокойной ночи, зевнул и отвернулся. Черт с ней! Пусть себе дуется. Пусть кипит в огне своего тщеславия! Какое-то время он притворялся спящим, но тишина постепенно сгущалась, как падающий черный снег, и начала его давить.

Открыты ли ее глаза? Следит ли она за ним, ждет ли, когда он повернется к ней? Казанова незаметно изогнулся, затаил дыхание и дотронулся до Шарпийон. Она даже не взглянула на него. Ее руки не раскрылись в объятиях. Невероятно, но она держалась совсем как в первые минуты: голова опущена, колени подняты, руки крепко обхватили грудь. Он знал, что противоречит себе, но не мог ею не восхищаться. Да ее извращенное упорство поразило бы каждого.

Он вцепился зубами ей в бедро, в нежную мякоть под тазобедренной костью. И тут Шарпийон впервые застонала от боли, а быть может, и от страха. Это воодушевило его. Казанова пригнулся и стал щипать и кусать девушку, играя на ней, как на особой, причудливой арфе. Он боялся утратить самоконтроль, но его удерживала чувственная слабость. Он почувствовал легкую дрожь под пальцами. Кто это, он, она или они оба? Он не знал и даже не старался догадаться, о чем она думала. Шарпийон была столь же чуждой ему, как Вифиния. Она отлично хранила свои секреты. И победила его. Почему бы ему это не признать? Казанова сомкнул руки на ее горле. Его указательные пальцы сжались у нее на подбородке. Теперь, поймав ее в силки, точно раздавленную

птицу, он почувствовал себя олимпийцем. Его напрягшиеся мускулы и руки крепко обхватили тонкую шею, словно проникли и в глубь ее души, поведав ему о нелегкой, замкнутой жизни Мари, об одиночестве — верном спутнике ее красоты, об ежедневной скуке накапливания сил, которых никогда не было достаточно, чтобы освободиться. И когда Шарпийон в отчаянии обвилась вокруг него, когда ее руки стиснули его запястья, а ногти вонзились в кожу, когда она вырвала прядь его блестящих, черных волос, он открыл в ней прежде неведомые черты, открыл…

ДЖАКОМО!

Казанова привстал, отпрянул, оперся о стул и швырнул в воздух что-то хрупкое и невесомое, упавшее на пол у него за спиной. Он услышал, как она кашлянула, попыталась вздохнуть и сглотнула слюну. Крепко ли он сдавил ее горло? Еще одна минута. Полминуты. Так нетрудно и задушить. Казанова — убийца женщин.

Он на корточках подполз к груде своей одежды. Ему нужно выбежать отсюда, одеться и скрыться, но комната вдруг показалась ему огромной. Может быть, его одежду успели украсть? Сейчас возможно все. Он хотел было крикнуть: «Кто здесь?», но испугался, что ему ответят. Потом

он нащупал ткань своих бриджей. Схватил их, улегся на спину и стал натягивать, окутывая ноги шелковым покровом. Пошатнулся от слабости, приподнялся и снова лег. Он столкнулся с разбушевавшейся стихией, сам вызвал ее к жизни, и на полминуты, пока на него вновь не нахлынула волна горя, его сознание прояснилось, и он ощутил небывалое спокойствие. В такое мгновение человек способен спасти свою жизнь или хладнокровно уничтожить себя на глазах у изумленных свидетелей.

Казанова сложил руки на груди, как древний фараон. Из центра города донесся колокольный звон, а затем глухо пробили часы.

— Измениться или умереть, — прошептал он. — Измениться или умереть.

Часть вторая

глава 1

Ранним утром у Блэкфрайерз-стэйрз собралось не менее ста человек. Все ждали, что их наймут на сегодняшнюю работу. Казанова приблизился к этой толпе со стороны Уотер-лейн и оглядел ее сквозь предрассветный сумрак. Его долго блуждавший взор наконец остановился на двух крепко сбитых малых, замыкавших круг. Они завтракали луком. Он окликнул их. Мужчины недоуменно обернулись, посмотрели на Казанову и указали друг на друга. Шевалье кивнул и улыбнулся. Они неуверенной, усталой походкой двинулись к нему, предположив какой-то подвох. Где это видано, чтобы богатые подзывали к себе бедняков? Ну, разве какие-то чудаки захотят, чтобы их ограбили.

Пятнадцать минут спустя бывшие разнорабочие побрели назад к собору, продолжая жевать лук. Они изумленно останавливались у каждой стеклянной витрины и всматривались в свои отражения, но так и не могли поверить, что на них новая, дорогая одежда. И казались сами себе парой ярких, невесть откуда залетевших бабочек. А еще минутой позже Жарба и Казанова в

коротких, засаленных куртках и шляпах, которые, наверное, использовали либо как кошелки для завтрака, либо и того хуже, присоединились к стоявшим на набережной. Шевалье сперва поэкспериментировал с одним из своих старых костюмов — насажал на нем дыр, а миссис Фивер украсила эту «ветошь» нелепыми заплатами, но он все же больше походил на Арлекина, чем на человека, зарабатывающего на жизнь своими руками. Чтобы стать настоящим оборванцем, нужны месяцы и годы, а въевшуюся грязь не заменишь клубочками пыли, собранными в доме на Пэлл-Мэлл. Очевидно, ему следовало долго практиковаться, чтобы всякие сомнения отпали. И вот теперь они оба были готовы.

Подрядчик сидел на скамейке и отбирал претендентов на глаз: сильные — к лодке, хилые — прочь. За спиной у него стоял чиновник в шерстяном шарфе, закрывавшем нижнюю часть лица, и записывал фамилии. Кого только не было в разношерстной толпе — шнырявших мошенников, молчаливых, узкоглазых китайцев в коротких жакетах, чернокожих — куда темнее Жарбы — и совсем непонятных людей, еще более неуместных на стройке, чем Казанова. Попадались там и женщины, и дети.

Порыв северо-восточного ветра приподнял их рваную одежду, затеребив лохмотья у колен, и возвестил об окончании ночи. Шевалье подумал, что яркий дневной свет, сменивший сероватую утреннюю мглу, не может сбить с толку или обмануть. Он сунул руки глубоко в карманы, греясь остатками чужого тепла.

— Как вас звать? — выкрикнул подрядчик.

— Джек Ньюхаус.

— Как у вас руки?

— Что? Сруки?

Жарба показал свои розовые, как семга, ладони. Казанова последовал его примеру. Мастер осмотрел их, обратив внимание на отсутствие мозолей, обгрызенных ногтей и заусенцев, а затем скользнул взглядом по их лицам. На мгновение показалось, что он забракует их и отпустит восвояси, но утро выдалось холодным, а стоявшие перед ним люди были крепко сложены, хотя их гладкая кожа светилась на солнце. Он что-то пробурчал, чиновник записал имена новичков, и шевалье от души улыбнулся. Сейчас он начнет играть непривычную роль, изображать того, кем еще не был. Этот тревожно-радостный холодок хорошо знаком озорным детям и актерам. Вот и его грудь со свалявшимися волосами, в кото-

рых копошились насекомые — уж таково было «наследство» разнорабочих, — сжалась от леденящего возбуждения.

Они заняли место в толпе и стали ждать лодку, чтобы добраться до моста. Напор хлынувшего дождя разорвал облака, солнце скрылось, и капли потекли у них по носам и шеям, скопившись в ушных раковинах. Чем-то похоже на армейские сборы, решил Казанова. Он был призван в армию в Венеции весной 1744 года и прослужил в ней рядовым до зимы 45-го. Служба, в которой хватало и унижений, и веселых минут, по крайней мере, приучила его стойко сносить повседневные неудобства. Он понял, что ни сырость, ни усталость не могут убить, а в походах и на биваках любой способен справляться с обстоятельствами, невыносимыми в обычной жизни. Это был незабываемый урок.

Лодка причалила к пристани, ударившись носом о ступени. Осторожно ступая, в нее забралась новая партия рабочих. Лодочник оттолкнулся от берега. Он не выпускал изо рта трубку и лишь повернул вниз ее маленькую чашу, чтобы она не погасла от дождя. Лодка оказалась очень низкой, скорее похожей на плот, и лишь расстояние в полпальца отделяло ее верхний борт от оранже-

во-серых разводов на поверхности реки, среди которых дрейфовала дохлая кошка с висевшей у нее на хвосте крысой. Казанова подумал, что Жарба мог бы принести из дома зонты, но отправлять его назад было уже поздно.

Они высадились у причала, наспех сооруженного на новом молу. Шевалье помассировал натертую тесным воротником шею и подивился окружающему его мельтешению. Здесь среди каменных обломков и досок, веревок, кранов и насосов, непрестанных выкриков и приказов люди делали полезное дело. Возможно, в этом был какой-то героизм. В воздухе высоко над площадкой проплыл каменный блок размером с экипаж герцога Бедфорда. Тут же поодаль мокли под дождем низкорослые лошади. Другая лодка доставила тяжело пыхтящего подрядчика вместе с собакой. «Он сам настоящий пес, — догадался Казанова, — у него и прыть собачья, и повадки тоже собачьи, только хитрость человеческая». Невыспавшиеся, серые от усталости рабочие получили указания и медленно двинулись к своим новым местам, разминая на ходу руки и отбирая инструменты.

Группу, в которую попал Казанова, приставили к свайному молоту: шестьсот килограммов

неповоротливого железа поднимали из бутового ложа в тридцать канатов и шестьдесят рук. Первый час прошел не без удовольствия; Казанова порадовался собственной ловкости и даже улыбнулся подрядчику. Тот, в свою очередь, окинул его хмурым взглядом, словно смутно вспомнил и шевалье, и их давнишнюю ссору. На втором часу работы пот стал есть ему глаза, а сердце забилось в груди, как корабельный колокол. Он виновато посмотрел на Жарбу. Настойчивые призывы начать новую жизнь стали для слуги тяжелым испытанием, и его верность господину была уже на пределе. Пришлось дарить подарки, но даже тогда, судя по выражению лица Жарбы, он предпочел бы снова попытать счастья на рынке Ройал-Иксчейндж. Да уж, домашняя прислуга — народ особый. Но в конце концов, пообещав Жарбе, что это всего на месяц-другой и что он не будет продавать особняк на Пэлл-Мэлл, шевалье сумел его убедить. А ведь еще недавно в горячечном порыве Казанова собирался расстаться со своим уютным прибежищем и перебраться в какой-нибудь скромный угол! Его губы растрескались, кожа на подбородке покрылась пятнами засохшей слюны, и когда он беззаботно подмигнул Жарбе, то и сам догадывался, что с таким

лицом нельзя никого приободрить.

После третьего часа они передохнули, и Казанова двинулся туда, где облицовывали тесаным камнем свежевозведенную арку. Он шел медленно, как будто наугад. Дождь кончился, и на небе засияло солнце цвета облупленной меди. Лондон, эта Атлантида в клубах дыма, понемногу пробуждался к жизни. Собор Святого Павла был, как шарфом, увит разводами водянистого северного света. Сквозь пыль, сутолоку шляп и сети тросов шевалье различал пестрые женские шелка, золоченые рукояти шпаг и окна суровых зданий, которые словно выталкивали из комнат солнечные лучи. Кто знает, может быть, в этих комнатах сейчас плелись какие-то замысловатые, пикантные интриги?

Он отвернулся, и в его памяти всплыл другой эпизод — гнетущий и тяжелый, как этот свайный молот: шевалье де Сейнгальт лежит на спине в темной гостиной на Денмарк-стрит, и слезы черными лентами струятся у него по лицу. Он почти забыл, как добрался домой. Похоже на картину, в ярости разрезанную сумасшедшим. Вот один фрагмент — мужской глаз, огромный, как яйцо. Вот второй — озеро переливчатого света и уличная девка, кормящая грудью ребенка, а вот

старый сторож, седой и пьяный, держит лампу и в упор смотрит на прохожего.

«Все люди должны когда-нибудь вернуться домой в таком состоянии и пережить выпавшее на мою долю», — мрачно подумал Казанова, и страх пронизал его до кончиков ногтей.

В этот момент прозвенел гонг, зычно крикнул подрядчик, собака диким зверем задергалась на своей цепи, и группа вновь приступила к работе. Десять лет назад, продолжал размышлять шевалье, эти усилия дались бы ему без труда. Пять лет назад он бы вполне убедительно притворился, что все это ему — раз плюнуть. Но теперь обнаружил, что ему положен неведомый ранее предел. В ушах у него гудело, легкие, как ему почудилось, уменьшились до размера дамских сумочек, бедра дрожали, но каждый раз, когда молот поднимался в воздух, он чувствовал, будто его организм очищается от очередной оргии, от очередного безвкусного вечера с шампанским и пустой болтовней, с мошенничеством и чередой обманов, от очередного трудоемкого соблазнения чьей-то племянницы…

О четвертом часе лучше было забыть, да, в сущности, это время и забылось в тяготах пятого часа. Шестой час заставил его понять, как медленно

могут ползти минуты. Рабочие еле держались на ногах, и любой из них думал, что он один поднимает тяжеленный молот.

Еще один перерыв, — на сей раз короче первого. Всего десять минут, чтобы привалиться к свеже-выложенному парапету и поправить полоски ветоши, худо-бедно защищавшие ладони от огненного трения канатов. Рабочие достали из карманов фляги и бутылки. Казанова и Жарба поглядели на пьющих, их кровь по-прежнему пульсировала в ритме молота и омывала тело волнами с головы до пят.

— Нам нечем освежиться. Почему мы не захватили с собой вина? — недоуменно спросил Казанова и осмотрелся по сторонам, как будто где-нибудь поблизости можно было заказать перепелиных яиц и горячего шоколада. Он без отвращения съел бы даже лук и запил бы пригоршней воды.

Навстречу им двинулась фигура с лицом, покрытым серым слоем пыли, и огромными глазами, похожими на янтарные озера в пустыне. Не подходя слишком близко — кто же это, мужчина или женщина? — она протянула бутылку. Жарба сделал шаг вперед, взял у нее бутылку, выпил несколько глотков, вытер губы тыльной сторо-

ной ладони, а затем передал Казанове.

— Что принесло нам это создание, Жарба? — спросил шевалье, приблизив бутылку ко рту.

— Английский джин, — ответил слуга.

— А как зовут этого человека?

Жарба осведомился. Существо ответило ему полушепотом, потом забрало бутылку и вновь присоединилось к группе рабочих, столпившихся в тени большого ворота.

— Ее зовут мисс Рози О'Брайен, — сообщил Жарба.

— А, — откликнулся Казанова и машинально поправил кружевную манжету, которой у него сейчас, конечно, не было. — Мы должны ее как-нибудь отблагодарить.

После перерыва им было приказано нести корзины, большие, плетеные корзины, груженные глиной и щебнем. Шевалье захотелось доказать, что он хороший работник, и он взял самую тяжелую из них, протащив ее сто ярдов к другой группе, утрамбовывавшей щебень в основание мостовой. Его вторая корзина оказалась еще тяжелее первой. Он согнулся и вскинул ее в воздух. Но мускулы его спины тут же зловеще заныли, и на мгновение корзина зависла, удерживаемая лишь кончиками его пальцев. Подрядчик следил

за ним, его собака сонно качала головой и вытягивала шею, словно желая побороть приступ некоего песьего безумия. Казанова направился вперед. Рози О'Брайен шла за ним по пятам и несла корзину так легко, будто в ней лежали розовые лепестки или гусиный пух. Она повернулась к нему — теперь его лицо стало таким же серым от пыли, как у нее, — и заговорила по-английски? по-гэльски? Шевалье решил, что она объясняла ему, как надо носить корзины, — не напрягаясь, без лишних усилий, вот так, в кольце рук.

— *Grazie. Molto qrazie*[17].

Он машинально поклонился и ощутил, что его туловище опасно накренилось, но в последний момент успел откинуть корпус назад. Удержался и не упал. Девушка обогнала его и, опорожнив корзину, на мгновение скрылась в столбе серо-зеленой пыли, словно Дафна, обернувшаяся деревом, убегая от Аполлона.

Последний час они работали при свете факелов. Усталость не принималась в расчет. Работа захватила их своим безудержным течением и понесла, не давая опомниться. И когда прозвенел гонг, рабочие удивленно и бессмысленно поглядели

---

[17] Примечания: 17
Спасибо, большое спасибо *(ит.).*

вверх на беззвездное небо, как будто очнувшись от глубокого сна. Они чуть не валились с ног. Утреннее путешествие повторилось обратным ходом, они собрались у причала, и лодочник довез их по грязной реке до обросших ракушками ступеней Блэк-фрайерз.

— Обычно первый день самый трудный, — произнес Казанова, когда Жарба помог ему выйти из лодки.

— Да, — ровным, без выражения, голосом отозвался слуга и повернулся к западу, туда, где были освещенные фонарями площади, Пэлл-Мэлл и дом. Дом ли?

— Дорогой Жарба, — обратился к нему Казанова, взяв его за руку, — сегодня ночью нас не ждут постели из пуха.

— Моя набита конским волосом, — уточнил Жарба.

— Я всегда полагал… — Казанова пожал плечами на венецианский манер — демонстрируя не равнодушие, а какую-то более сложную эмоцию с оттенком душевного тепла. Остальные рабочие расходились кто куда, обмениваясь прощаниями.

— Ты разглядел эту девушку? — полюбопытствовал Казанова. — Да, да, ту самую, с гнилыми

зубами, которая поделилась с нами джином.

глава 2

Они нашли ее в большой группе, свернувшей на Холланд-стрит. Процессия растянулась, будто крокодил, и они пристроились сзади. И Казанова, и Жарба от усталости даже не могли почесать себе спины и еле брели вверх, на Паддл-Док-Хилл. Через Дин-Корт группа вышла во двор собора Святого Павла, где на ступенях оживленно болтали бедняки в плащах из конских шкур. Так разговаривают на ступенях всех соборов мира, а в самой густой тени ютились замерзшие от вечернего холода женщины в ожидании клиентов. Попусту расточать свои сладострастные призывы на рабочих они не стали. Тех ждали свои шлюхи: страшнее, грязнее, еще потасканнее.

Их путь лежал в Чипсайд, мимо церкви Боу, рынка Ройал-Иксчейндж и Лиден-холл-стрит. Казанова брел, слепо глядя себе под ноги. Когда он поднял взгляд, что-то в мировой субстанции исчезло, растворившись в спертом воздухе темных улиц и переулков. От зданий исходила смутная угроза. Он еще не бывал в этих кварталах, но сразу узнал их, вспомнив свои ночные прогулки по бедным уголкам Рима и Парижа. Ему был хорошо

знаком их запах — тяжелый, отдающий гнилым сыром дух нищеты.

Где-то в Уайтчепеле процессия вдруг резко свернула, и все спустились по грязным ступеням в дешевую закусочную. Рабочие уселись на лавки и оперлись локтями о столы, на которых в широкогорлых бутылках горели свечи из свиного жира, а их бледное пламя колебало струи воздуха. В дальнем конце комнаты у очага стояла женщина неимоверной толщины, загадочная, как сёгун, и раскладывала еду по мискам. Девочка, примерно одних лет с Софи, с кожей желтой, будто пламя этих свечей, подавала на стол миски и брала у рабочих деньги. Казанова уставился на принесенное блюдо. По его ложке скользнула какая-то студенистая масса, не похожая на нормальную еду и совершенно несъедобная на вид. Можно ли проглотить ее и не поперхнуться? Однако рабочие жадно набросились на этот клейкий студень — зачерпнули его из мисок, поднесли ложки ко рту, а их подбородки засверкали от жира. Рабочие то и дело останавливались, тяжело вздыхали и продолжали есть.

Казанова попробовал студень и охотно, даже с благодарностью взял добавки, хотя с трудом держал ложку распухшими и окровавленными

пальцами. Он выскреб миску, подобрал подливку коркой хлеба и даже присоединился к хору рыгающих. Несколько человек громко попросили подать им какой-нибудь выпивки, да покрепче. Повариха с ключом на цепи, впившейся в мякоть ее необъятных бедер, открыла буфет, и девочка стала вновь протискиваться между лавок, прижимая бутылки к своей крохотной груди.

Рядом с Казановой сидел мужчина средних лет с плотно сжатыми кулаками и круглым меланхоличным лицом незадачливого торговца бакалеей. Он подслушал, как шевалье и слуга вполголоса говорили по-итальянски, и обратился к ним на том же языке, боязливо озираясь по сторонам. Сосед по столу сказал, что его зовут Каспар, он австриец и скрывается в Лондоне от тайной полиции Марии Терезии. Каспар знал всех, работавших на мосту. По его словам, если они пожелают остаться, отыскать ночлег на одну ночь или несколько дней будет совсем нетрудно. Он — Каспар постучал по носу — станет их проводником в этом болотистом подземелье. Они выпили с ним бутылку портера. Австриец добавил в свою рюмку несколько капель лауданума, завинтил крышку флакона и весело заметил:

— Я принимаю его, чтобы не броситься в реку.

Лауданум удерживает меня от самоубийства.

Казанова взглянул на Рози и увидел, что она уснула за столом. Ее испитое и встревоженное лицо покоилось на жесткой подушке крепких рук. Как легко можно было бы ее спасти. Деньги в его кошельке оттягивали карман, и эта маленькая *borsa*[18] лицемерия втайне противоречила намерениям шевалье. Их вполне хватило бы для покупки этой закусочной, а возможно, и всей улицы. Помоги он этой Рози, и она спала бы на прохладных льняных простынях, а по утрам одевалась бы в изысканные платья, купленные на золото, на английские гинеи. И что же тогда случится? Месяц счастья, ее освобождение и неверие в чудо, а потом он устанет от нее и бросит, оставив выживать, как вторую Шарпийон. Но где ей соперничать с красавицей Шарпийон и кто заплатит за нее на рынке! К тому же ее никогда не защитят эти хищники, эти пираньи, среди которых жила Мари.

У него припухли железы под мышками и в паху. Очевидно, начался новый несильный, но тягучий воспалительный процесс. Но Казанова не нуждался в лаудануме. Он и так был крайне воз-

---

[18] Примечания: 18
Сумочка *(ит.).*

бужден и почти невыразимо растроган суровой, рубленой красотой окружавших его лиц. Рабочие давно свыклись со своей участью и успели настрадаться больше, чем предусматривал здравый смысл. Среди них не нашлось ни одного человека без увечий — кто-то хромал, а у кого-то косили глаза. В общем, изъяны имелись у каждого. Это были сливки общества убогих, чудом выживших, выкупленных из работных домов, и бедных как церковные мыши. Оказаться с такими людьми — дело чести. Им бы следовало воздать высочайшие почести, нарисовать их портреты и воспеть их мужество в стихах.

Он вытер слезы и ощутил приятную опустошенность. Какая-то женщина залезла на стол и принялась отплясывать контрданс. Мужчины сбились в круг и запели, отбивая ритм своими кружками. Известно ли лорду Пемброку, с его бритьем три раза в день, петушиными боями и легким отношением ко всему на свете, об этих нехитрых радостях, о братстве людей, у которых нет ничего и никого, кроме друг друга?

— А вы тоже скрываетесь, синьор? — спросил Каспар, наклонившись к Казанове. — Не беспокойтесь, я сохраню вашу тайну, синьор.

глава 3

Ночлежка находилась на Петтикоут-лейн. Ее освещал лишь фонарь посередине улицы. Бедняки, у которых не было и двух пенсов, чтобы заплатить за ночлег, грелись у костра и без всякой надежды обращались к прохожим.

У двери ночлежки рядом со старухой-привратницей стоял великан в матросских панталонах и, по всей вероятности, только что украденном камзоле, пахнущем званым ужином на Ганновер-сквер. Они собирали деньги у постояльцев, а старуха совала их в шерстяной чулок, до отказа набитый монетами. Казанова зашел внутрь и чуть не задохнулся от вони, которую источала тускло блестящая лужа сточной воды под лестницей. Он прижал ко рту кулак, схватил другой рукой Жарбу за полу куртки и поднялся, ожидая, что скрипучие деревянные ступеньки в любую секунду провалятся у него под ногами. Казалось, что в доме не было дверей, и отовсюду доносились храп и сопение тревожно спавших, выкрики, одинокий баритон какого-то пьяницы и хныканье голодных детей.

На третьем этаже, а быть может, на четвертом или пятом рабочие прошли по коридору в заднюю комнату. На обгоревших, заблеванных матрасах с крошащейся соломой вповалку лежали спящие, отделенные друг от друга грязными и скомканными простынями. От фонаря, висевшего на гвозде, падал унылый свет. Жарба и Казанова направились к наименее заполненной лежанке и втиснулись под одеяло в вонючее человеческое месиво. Прочие спящие — среди них шевалье заметил Каспара — завертелись, но так и не проснулись.

Лежа на спине, Казанова разглядывал темную штукатурку. Ему вспомнилась другая ночь, двадцать лет назад. Тогда он пересек предместье близ Серреваля, и ночь застала его на подступе к городу. С ним еще был этот пройдоха-францисканец Стаффано, и они заночевали в большом крестьянском доме. А когда они спали, на них вдруг набросились две старухи, крепкие и вонючие, точно козы. То ли им не терпелось опустошить их кошельки, то ли они собирались растерзать их молодые тела и обглодать до костей. Разбуженные путники боролись так, что небу стало жарко. Стаффано вращал своим посохом, женщины визжали и уворачивались…

Из его груди вырвался усталый смешок. *Porco zio!*[19] Вот это были деньки! Из Серреваля он потащил свою молодую тень в Рим к туфлям папы и маленьким сатиновым башмачкам Лукреции и ее сестры Анжелики. А потом служил кардиналу Колонне, нанявшему его писать любовные письма. Гулял в густых садах Тиволи и Фраскати. Там, наверное, до сих пор бродит какой-нибудь его двойник и угощает девушку арбузами. Казанова представил себе их красные и сладкие, как у детей, рты.

Отчего он не остался в Риме? Может, не стоило уезжать? Какое отличное время он там провел! Казанова вспомнил яркий свет и особый аромат, исходивший от власти. Он похож на духи очень, очень дорогой шлюхи, и стоит к ней приблизиться, как твоя голова идет кругом. Но вернуть те дни означало бы застыть на месте и превратиться в сторожевого пса, лающего у двери прошлого.

Конечно, Гудар прав — чтоб его черти взяли, чтобы морские чудища разорвали его мозг и вытащили через нос! Их обоих всегда выручали природный ум и быстрые ноги. Они не боялись темных дыр и углов жизни и заходили туда, где

---

[19] Примечания: 19

Черт возьми! *(ит.)* В досл. пер. «свинский дядя» (схожая по звучанию замена богохульного «Porcoddio»).

не встретишь людей из общества. Да, у них много общего. Шевалье всегда подозревал, что у Гудара не было родителей и он появился на свет, словно зачатый спертым воздухом снятого на час гостиничного номера. Но и сам шевалье не знал своих истинных предков — мать, готовая на все, у него, конечно, имелась, но отцом мог быть кто угодно — дож, дьявол или просто *mangiamarroni*[20] — завсегдатай театров, где танцевала Дзанетта. Генеалогическое древо говорит человеку, кто он такой и кем, по всей вероятности, станет, а они были его лишены, и потому им пришлось создавать себя самим и выстраивать свою жизнь. Гудару это удалось разве что отчасти — тело мужчины и голова шиншиллы, вот кто он такой. Но Казанова сумел преуспеть, и в свое время его выдумки отлично сработали. Быть может, даже слишком хорошо. В нем было все, в чем нуждалась знать, одетая в шелка: он легко приспосабливался, схватывал смысл происходящего с полуслова, и в нем сверкали искры таланта. Подобно венецианскому каналу, он притягивал других своими пороками и налетом грязи. Что же. Прекрасно. Долгие годы успех сбивал его с

[20] Примечания: 20
Поедатель каштанов *(ит.).*

пути, и он не был готов к поражениям. Везение, аплодисменты мира, но сейчас…

Что-то зашелестело у него на коже около бедра. Казанову это не встревожило — ощущение было смутным, каким-то отдаленным, а насекомых при случае можно вытерпеть, впрочем, как и людей. Завтра они уберут и вычистят комнату, подумал он, и найдут новую солому для матрасов. Не повесить ли на стены картины? Новая жизнь. Джек Ньюхаус. Человек из народа.

глава 4

Они отправились на работу спозаранку, в такой же тьме, как и прошлым вечером. Пожалуй, было даже темнее — в эту пору фонари еще почти не зажигали. Светилась металлическая жаровня в каморке у привратника, да мимо торопливо прошел священник с мальчиком, державшим в руке фонарь, и просачивался свет из полуподвала, где мелькали фигуры людей у залитых кровью столов. Но рабочие не могли разглядеть друг друга, пока не добрались до закусочной. Они позавтракали остатками вчерашнего ужина, а супа в котлах поварихи осталось не меньше, чем в прошлый раз. Можно подумать, что они все время наполнялись, будто в сказке.

Утром никто не пел и не разговаривал. Рабочие ели, хлюпая ложками, и от этого звука возникало впечатление, что сотня людей пробирается по заболоченному полю. Отчего они так покорны, принялся размышлять Казанова, почему никто из них не заберется в роскошный дворец, не прирежет какого-нибудь жирного банкира и его жену, не напьется на радостях бренди и не заест фисташками? Что бы ждало убийцу? Или

ссылка на плантации, или душные трюмы? Чего же они все боятся? Суть в том, решил шевалье, пощупав выросшую на подбородке щетину, что у них нет ни вожаков, ни единства, и они сами себя не знают. Они счастливы, когда им не грозит голодная смерть, а ни о чем другом просто не думают. Неудивительно. Ведь всего несколько дней назад на Стоункаттер-стрит нашли обнаженную и умершую от голода женщину. Говорят, что в Лондоне каждый месяц из домов выбрасывают по двадцать голодных трупов. И это в городе, где карета лорда-мэра чуть не ломится от золотых украшений и упряжка из шести отличных лошадей с трудом может протащить ее по грязи.

Они еще не начали тянуть канаты, а по спине у него заструились огненные нити. Казанова собрался с духом и вспомнил о чудесах выносливости, поражавших общество. Да и как забыть Зульцбах и знаменитую игру в пике с Д'Энтрежю-дю-Пеном? Они вдвоем провели за игорным столом свыше сорока часов и справляли малую нужду в горшки, которые им подносили прямо к столу, и лишь на следующий день они поели холодного супа из креветок. Игра закончилась, когда Д'Энтрежю, выкладывая очередную проигрышную карту, без чувств рухнул на стол. Лакеи

вынесли его, и два дня его никто не видел. Ну, а сам Казанова не просил ничего, кроме легкого рвотного лекарства у врача в казино, и, отдохнув три часа, смог присоединиться к компании обедавших. Какое впечатление произвел он тогда на эту милую малышку, мадемуазель Сакс! Жаль, что дело было в такой дыре, как Зульцбах.

Его руки ослабели, как у ребенка. Но гордость заставляла его не отпускать канат. После двух часов работы его мозоли стерлись и между пальцами проступила кровь, но он лишь усмехнулся, стиснул зубы и с удвоенной энергией взялся за дело. Даже сейчас, выбиваясь из сил, будто святомученик на полпути к мученичеству, неспособный даже сглотнуть слюну, он то и дело украдкой поглядывал на Рози О'Брайен. Ему всегда нравились молоденькие ирландки. Одну из них он некогда продал королю Франции, а Буше написал ее портрет.

На третий день он наполнял корзины, стоя под небом цвета жареной свиной печени, и прикоснулся к Рози своей большой, разодранной рукой. Ее ладонь была шершавой, точно черепаший панцирь. Он томно вздохнул, совсем как в гостиных рококо или на прогулках в саду рядом с дворцом. Как трудно перестать играть роль, к которой он

привык за долгие годы! Инстинкты консервативны, их нельзя изменить в одночасье, и, похоже, они уже стали частью его «я». Он подумал, что и при полной свободе все равно бегал бы по кругу, как отпущенная на волю такса.

На пятый день на мосту погиб рабочий.

Он работал в новом кессоне, возводя водонепроницаемую перемычку. Раздался крик — может быть, завопил он сам или друг предупредил его о грозящей опасности, когда деревянная оплетка внезапно вмялась внутрь под давлением воды. Два деревянных столба нелепо завертелись в воздухе. Рабочие бросились к парапету и поглядели вниз, в воду, где после короткого всплеска все снова стихло. Они спустили лодку, та стала рыскать среди дрейфующих деревянных обломков. Никаких следов пострадавшего видно не было. Рабочие не умели плавать, и на мосту не нашлось никого, способного поверить, что он спасся. Лодка десять минут кружила по реке, гребцы тыкали веслами плавучий мусор. Потом кто-то окликнул их, и они вернулись к причалу. Милн стоял у стола, на котором лежали планы, прижатые камнями от ветра. Лицо молодого архитектора побледнело от потрясения, как будто он получил выговор. Подрядчик с палкой в руке

загнал рабочих на места, а собака не отставала от него ни на шаг. Мозолистые ладони сомкнулись на не успевших остыть инструментах. Казанова услышал негромкий плач то ли мальчика, то ли женщины. Он не стал оборачиваться и не знал, кто это плачет, словно гибель рабочего была не личным горем, а скорбью всех, строивших мост. На другом, большом Лондонском мосту по-прежнему ехали повозки, а в воздухе клубился дым от листьев, сожженных в садах Капперс на южном берегу. К вечеру на стройке решили, что течение отнесло труп к Гринвичу или в море. О погибшем забыли, как будто эта память, подобно его бренному телу, скрылась в незримых потоках.

глава 5

Мысль о забастовке пришла ему в голову на шестой день работы, когда он уже три часа поднимал и опускал свайный молот.

— МАЙНА!

Вот они, первые семена недоверия товарищей. (Но разве эти сукины дети тянут поровну? Не тянет ли он за двоих? За полдюжину человек?)

Казанова задумался. Ему не хотелось видеть укоризненный взгляд Жарбы. Отчего он смотрит? В конце концов, слуга не должен осуждать своего господина.

глава 6

В воскресенье они отдыхали, жили нормальной жизнью. Зарплату выдали в таверне в субботу вечером (подрядчик издавна был в сговоре с кабатчиком), и наутро рабочие, спотыкаясь с похмелья, отправились по ломбардам выкупать крохи былой роскоши. Мужчины в унаследованных от отцов и дедов рубашках — штопанных-перештопанных и выскобленных до полупрозрачности, придававшей им сходство со священными реликвиями, — и женщины в шляпках из соломы, росшей на лугах Уиклоу или Коннемары во времена королевы Анны, десятками и сотнями разбрелись по северным артериям города — Госуэлл-стрит, Бишопсгейт и Брик-лейн, милуясь среди кирпичных труб, глазея на собачьи бои и с доброй усмешкой проламывая друг другу черепа.

Казанова зашел вместе с Жарбой и Каспаром в знаменитую мясную — «Дом бифштексов» Долли на Патерностер-роу. Их лица светились от ледяной, ржавого цвета воды из уличной колонки, и они заказали огромные, дымящиеся бифштексы с луковой подливкой и картофелем в масле, а к ним — три бутылки красного, крепкого вина.

Но Долли с грудью огромной, словно шкаф, налетела на них чернее тучи и выгнала из зала, не желая видеть у себя этих пыльных оборванцев, наверняка кишащих насекомыми. Они вышли и, стараясь не терять чувства собственного достоинства, накупили провизии в кондитерской лавке на Флит-стрит. И чуть было не столкнулись там с великим лексикографом, важно выплывшим из двери таверны «Митра». Он оживленно беседовал со своим маленьким шотландцем. На мгновение Джонсон посмотрел Казанове прямо в глаза и, продолжая говорить, казалось, немного смутился, но потом как ни в чем не бывало двинулся дальше, обойдя наряд полиции и тележку мальчишки — продавца мяса.

В Мурфилде пахло дымом костров. Они устроились под деревом, поодаль от Бедлама, и Казанова подробно разъяснил свой план. Австриец возбужденно кивал головой и ел кекс с корицей. Он знал, что нужно делать: тайные клички, подстрекательские брошюры, пароли, невидимые чернила.

— Но мы должны вести себя разумно и осторожно, — перебил его шевалье.

— Конечно, — согласился Каспар, разломив последний сладкий кусок на три неравные части и

съев две из них. — Нам нужно быть повежливее. Англичане любят считать себя рассудительными людьми.

Они обдумали свои требования и набросали углем на обертке из кондитерской несколько предложений. Солнце удлинило их тени. К вечеру похолодало, и нужно было дышать на кончики пальцев, чтобы немного согреть их. Они составили план из девяти пунктов:

1. Не более четырех часов в день работы на свайном молоте.

2. Компенсация за сломанные конечности и другие увечья.

3. Девять шиллингов в неделю всем взрослым рабочим.

4. Достойные похороны умерших.

5. Лекарства для больных.

6. Пиво во время утреннего перерыва (или вино, на котором настаивал Казанова).

7. Никто из служащих компании не имеет права избивать рабочих.

8. Детям до семи лет — сокращенный рабочий день.

9. Увольнения рабочих без серьезных оснований недопустимы.

Но им никак не удавалось сформулировать

десятый пункт.

— А зачем обязательно десять? — усомнился Казанова. — Разве мы не перечислили все необходимое?

— Я бы предпочел десять пунктов, — ответил австриец. — А иначе им покажется, что мы не сумели придумать десятый пункт. И нас поднимут на смех. А как по-вашему, Жарба? Вы ведь больше, чем мы, глядели в глаза всем этим несчастным.

— Синьоры, — проговорил Жарба. Он сидел в стороне от них и смотрел на здание Бедлама, освещенное лучами заката. — Вашей схеме не хватает плоти и крови. А что, если перерезать глотку подрядчику? Или повесить архитектора на его мосту?.. Но уж если вы спросили, то позвольте мне заметить, что эти просьбы нам ничего не дадут. Нас просто изобьют и швырнут в реку.

Они с изумлением уставились на него.

— Не в силах представить себе, где это ты набрался столь мудрых мыслей, — сказал Казанова. — Однако ты помог нам составить десятый пункт.

Он оторвал от обертки засохшую начинку и написал:

10. Ни один рабочий не должен быть ущемлен в правах при ознакомлении руководства компа-

нии с пунктами данной программы.

— А еще, — добавил Жарба, — должны быть речи.

— Да. Речи обязательно. Так оно и должно быть, — подтвердил Казанова.

— И побольше, — отозвался Каспар, сдвинув колени и улыбнувшись друзьям-конспираторам. — Люди этого ждут.

Жарба расхохотался и, хотя его смех был негромок и напоминал приглушенный звонок в дверь, он разнесся по всему Мурфилду. Даже грачи, эти мрачные птицы, кружившие над верхушками вязов, казалось, засмеялись вместе с ним. Шевалье отвернулся и по обыкновению недоуменно подумал, куда их занесло и что они тут делают.

глава 7

В тот вечер Казанова угостил Рози кексом с коринфским изюмом. Они стояли на углу Уайтчепела и переулка Ангелов, и за ними следили бесшумно кравшиеся мимо бродяги и приблудные псы. Она взяла кекс в руки, рассмотрев его при свете единственного уличного фонаря. Когда она вздохнула, от нее усыпляюще запахло джином. Девушка принюхалась и бросила на шевалье робкий взгляд из-под опущенных ресниц. Он забрал у нее кекс, отломил кусок и положил Рози в рот. Его пальцы прикоснулись к ее губам и зубам. Это было самое нежное и деликатное, но и самое страстное, откровенно похотливое прикосновение на его памяти за недавние годы.

глава 8

В понедельник вечером мрачные и усталые рабочие собрались в закусочной. Воздух отяжелел от смрада вываривaемых на кухне костей. Казанова забрался на стол и хлопнул в ладоши. На мгновение он посмотрел в глаза хозяйке закусочной и оторопел, как было уже много лет назад, когда инквизиторы республики смерили его столь же беспощадным взором и его мужество сразу пошло на убыль. Он повернулся, кашлянул и заговорил, то делая паузы, чтобы Жарба успел перевести, а то совсем забывая про них.

— Друзья мои, я хорошо знаю богатых. Вы даже не можете себе представить, как им надоела праздная жизнь. Мы должны их пожалеть! Каждый день одно и то же — карты, театры, обеды с людьми, которые в глубине души не устают их проклинать. Почему столько богачей кончают жизнь самоубийством? Да потому, что им легче взвести курок, чем проснуться поутру. Ни богатство, ни свобода не радуют их. За стенами своих особняков они завидуют вам, боятся вас и ненавидят. Они знают, что их жизнь бессмысленна. Но вы, воздвигающие памятники человеческой

цивилизации вашими мозолистыми руками…

Возможно, Жарба присочинял какие-то забавные словечки, подумал Казанова, потому что все развеселились куда сильнее, чем он рассчитывал, и куда больше, чем, на его взгляд, предполагала подобная речь. Ведь он говорил о благородстве и душевной чистоте рабочего люда. Жарба поглядел на него и пояснил:

— Они хотят знать, купите ли вы им чего-нибудь выпить.

Раздали бутылки и столь грязные кружки, что на них было страшно смотреть вблизи. Рабочие выпили. Рози улыбнулась ему. Теперь они слушали этого крючконосого иностранца внимательно и с явным уважением.

Казанова достал спрятанный на груди оберточный лист, высоко поднял руку и показал им. Он зачитал требования с полной убежденностью в собственной правоте и от волнения несколько раз топнул ногами по столу. В его словах звучал непонятный гнев, возможно, причиной была изначальная несправедливость, которую не исправишь никакими забастовками. После перевода каждого требования рабочие поднимали кружки, размахивали ими и свистели. На шестом пункте послышались нестройные одобритель-

ные возгласы, на восьмом в закусочной стало шумно, как в медвежьей яме, а когда он закончил, дюжина самых набравшихся мужчин вскинули его на плечи и промаршировали по залу, распевая, как герои.

— У нас с ними общие корни, — пробормотал Казанова. — И вот я вернулся к корням.

Его поразила эта мысль, но он вздрогнул от искреннего признания и воодушевился. Ему захотелось прибежать в особняк к лорду Пемброку и поделиться своим открытием. Захотелось очутиться при дворе и увидеть, как от него отвернутся напудренные лица, хрупкие, точно севрский фарфор.

Рози потянулась к нему, и он ощутил горячую эмаль ее ногтей.

— Мы едины! — воскликнул он. — Мы едины!

И рабочие, будто ждавшие его команды, бросились с ним к двери и так сильно ударили его головой о притолоку, что у него потемнело в глазах, и вот толпа орущих незнакомцев повлекла его, раскачивая, словно гондолу, по убогим окрестным улицам.

глава 9

Он очнулся и увидел, что его голова покоится на груди у Жарбы, а ухо прижато к сердцу слуги. Казанова сел, потрогал затвердевший рубец над бровью и, осторожно ступая по узкой полоске света, сочившейся из-под двери, зашагал к лестнице. На ступенях, неуклюже свернувшись, спало несколько человек, он не заметил, сколько именно. Другие лежали в темных углах площадки, где лестница делала поворот, и зашевелились, когда Казанова прошел мимо; он сунул руку в карман, нащупывая свой маленький венецианский нож для устриц.

Он кивнул старухе у двери ночлежки. Она держала на коленях ребенка, возможно правнука, блаженно отдыхавшего у пустых мешков ее груди. Привратник стоял вместе с ними и сентиментально улыбался. Он посмотрел на Казанову, забыв изменить выражение лица, и на мгновение они отнеслись друг к другу по-братски.

Шевалье справил нужду в широкий поток грязи, текший по середине улицы. Когда он застегнул бриджи, из дверей ночлежки неслышно выскользнула тень — Рози О'Брайен. Казанова

подозвал ее отработанным посвистом — черезпьяццу-доносящимся, между-колоннами-петляющим. Она двинулась ему навстречу, он подтащил ее к себе, укрыл собственной тенью, сжал в кольцо объятий и поцеловал — один грязный рот припечатался к другому.

Они отправились на прогулку, пробираясь между воровских рынков и воровских городков. Их обитатели толпились у костров и проверяли свою добычу — дамские носовые платки, мужские часы и маленькие кошельки с одной-двумя гинеями, которые мужчины обычно забывают по ночам, а грабители и мелкие карманники охотно подбирают, но настоящее богатство и большие деньги приходят к ним совсем иными, тайными путями. Кто-то из них окликнул Рози, и они перемолвились двумя-тремя словами. Она по-прежнему крепко держала Казанову за руку, как будто окутав его плащом безопасности. Без нее они бы выпотрошили все его карманы, а быть может, и его самого и заработали бы примерно шесть пенсов у старьевщиков или у старинной гильдии пирожников.

Был ли он первым? Скольких еще вовлекала она в эту одиссею по тайным закоулкам города, странствуя, как Эвридика в аду, между туманны-

ми островами света? Он окинул взглядом стены Тауэра, затем они свернули налево к предместьям и миновали Уоппинг. Дважды приходилось прятаться от вербовщиков Ост-Индской компании, которые торопливо прочесывали квартал, сгребая из кабаков и притонов всех слишком слабых и неспособных больше ни пить, ни сбежать от них. Между деревянными домишками выделялись на фоне неба мачты и такелаж многочисленных кораблей. Там стояли галионы, рыболовные суда, лодки с устрицами, военные бриги, баржи Ост-Индской компании, шхуны и барки. Из-за двери погреба донесся отрывок пламенного монолога на урду, а вот эти мужчины, спорящие на середине улицы, не по-русски ли они говорят?

Наконец они выбрались из города — дом, разрушенный амбар, поле. Река, по которой скользило с полдюжины рыбацких лодок. От ветра пахло приморьем, дельтой, а щебет речных птиц смягчал мглу. На берегу росла ива, и Рози, наверное, целый вечер думала об этом дереве. Они улеглись, обнялись и заворковали на своих несхожих языках, обмениваясь интимными жестами, вбирая дыхание и тиская друг друга, словно в поисках потайных дверей. Было слишком холодно, они не стали раздеваться и ласкались, ощупывая

изношенные одежды. Отбрасывали один немытый кусок ткани за другим, пока их пальцы не добрались до мякоти плоти. Вот так, подумал Казанова, страстно обхватив извивающиеся руки и ноги Рози, поступают боги и птицы малые. Они обнимаются под небом, им нужен один миг радости и мук. А он почти забыл об этом.

Когда они встали и трава под ними разгладилась, от нее вдруг повеяло весной. Он сказал об этом Рози. Она не поняла его слов, но все равно добродушно улыбнулась, и они вернулись вместе, празднуя медовый месяц на угрюмых улицах. Их ласки благословлял мелкий, моросящий дождь из предрассветной тучи. Они расстались в ночлежке — Рози легла, найдя свободное место между двумя спящими девушками, может быть, ее сестрами, а Казанова положил голову на грудь Жарбе и приноровил свое дыхание к мерным выдохам слуги. Когда его все же сморил сон, он почувствовал нечто вроде счастья, вроде жалости, вроде…

глава 10

Когда они встали и отправились к мосту, мелкая изморось превратилась в сильнейший ливень, оставивший на их лицах черные полосы. Они, как всегда, шли гурьбой, кашляя и чертыхаясь. Уличная грязь липла к их подошвам. Казанову огорчило, что утро выдалось непогожим, ведь когда рыбаки устраивали забастовки в Венеции, то всегда выбирали ясные, солнечные дни, а их споры и требования становились настоящими праздниками, развлекавшими горожан. На них съезжались посмотреть, и забастовщики были столь популярны, что всякий раз пополняли казну Серениссимы звонкими дукатами. Он уже собирался отложить это выступление, но, когда их довезли до моста, дождь внезапно прекратился, и шевалье решил, что это доброе знамение. Собака подрядчика приветствовала их, чуть не сорвавшись с цепи. Она выпучила глаза и так возбудилась, будто рабочие прошлым вечером навсегда покинули мост.

Они опять разбились на группы и разошлись по своим местам. Вынули руки из карманов и потянулись к знакомым канатам. Проклятия и плевки

участились. И в эту злополучную, страшную минуту подрядчик как бы выдохнул их общую, коллективную волю. Архитектор остановился на другом конце моста и, похоже, наблюдал за ними, хотя в густом тумане его лицо казалось лишенным черт и гладким, словно яйцо.

— МАЙНА!

Они взялись за канаты, их кулаки раздулись от прихлынувшей крови, плечи заныли, а спины и ноги отыскали натертые вчера участки. Кто бы мог подумать, что и волосы могут мучительно вибрировать?

— МАЙНА!

Молот поднялся, размахнулся в воздухе и упал. Чудовищное сердцебиение. Чудовищное сердцебиение города.

— МАЙНА!

Porco miseria![21] Неужели молот стал еще тяжелее? Такое чувство, будто тянет он один, а все эти псы прохлаждаются. Он свирепо покосился на рабочих. Отчего они отводят глаза?

— МАЙНА!

Сигналом должен был послужить восьмичасовой звон колоколов церкви Сент-Бридж. Тогда

---

[21] Примечания: 21
Вот несчастье! *(ит.)*

все бросят канаты, а Казанова, Жарба и Каспар подойдут к столу архитектора и предъявят свои требования. Вероятно, подумал он, чувствуя, что его горло пересохло, как речная галька, архитектор пригласит их присесть, и они выпьют по бокалу вина.

— МАЙНА!

Такое ощущение, будто сегодня они поднимали целый город, вырвав его с корнями: соборы, тюрьмы, бордели… Грудь шевалье зловеще затрещала. Какой-то разрыв или внутренний всплеск, но на самом деле звук был больше похож на шорох монет, катящихся по зеленому лугу игорного стола. А скрежет плечевых суставов и сухожилий, разве он не напоминает звяканье палочки крупье? Хорошо, когда в чем-нибудь везет, и ему везло в игре, удача как будто шла ему в руки, и все давалось легко и без усилий. Он также был отличным собеседником, умел сохранять холодную голову и знал, когда надо уйти. В этом ему тоже везло.

— МАЙНА!

А что, если по какой-то причине колокола сегодня не зазвонят? В Англии унылый климат, и по высоте солнца не определишь, который час, с такой-то облачностью. Казанова посмотрел на Жарбу и постарался привлечь его внимание. Но

слуга и соучастник в заговоре почти погрузился в сон от усталости. Какой же он слабый и хрупкий на вид! Когда Жарба тянул канат, его зубы скалились и скрипели, как у больной лошади.

— МАЙНА!

Неужели они никогда не зазвонят?

— МАЙНА!

— МАЙНА!

Наконец в душном воздухе послышался мрачный звон Сент-Бриджских колоколов. Шевалье закрыл глаза и стал считать удары. Пять, шесть, семь… Семь или восемь? Какая разница. Он выпустил канат и сдвинулся с места, зашагав странной походкой, точно во сне. Подрядчик и его собака следили за ним, с ее нижней челюсти свисала нить сверкающей слюны. Взволнованный неожиданной тишиной, архитектор поднял голову от чертежей, нахмурился и схватил измерительный циркуль, будто оружие. Казанова уловил шаги у себя за спиной, но побоялся оглянуться и посмотреть, кто за ним последовал. Вдруг это лишь эхо его собственных шагов?

Милн поднялся из-за стола. Он был похож на молодого генерала, к которому внезапно приблизился усталый командующий из вражеского лагеря. Казанова улыбнулся. Он с почтением

относится ко всем молодым людям, добившимся успеха своими силами. Достав список требований, шевалье поклонился и вручил его архитектору. Милн нервным жестом взял бумагу, словно этот пропотевший и влажный от дождя лист мог обжечь ему пальцы. Он обвел взглядом своего секретаря, чертежников, главного инженера.

— Мсье, — начал Казанова, и холодок пробежал у него по спине. — Вы молодой гений, под вашим руководством эта каменная громада перекрывает воздух. А я всего лишь скромный рабочий. И составил с несколькими друзьями скромный список требований. Они вполне справедливы, и, я уверен, вы отнесетесь к ним благосклонно. Позвольте мне обратиться к первому пункту…

Архитектор зарделся — недоумевающе, а потом и гневно. Кто-то из его окружения прикрыл рукой рот и зашептал Милну на ухо.

— Мсье, вы говорите по-французски или по-итальянски? — спросил шевалье. — Жарба?

Он обернулся. Да, верный Жарба тут как тут. Спокойный, с лицом будто полированный песчаник, он смотрел на собор Святого Павла. Каспар тоже подошел к столу, но, судя по выражению его глаз, своими прямыми обязанностями он пренебрег лишь затем, дабы извиниться за неуместную

выходку коллеги.

— Мсье Милн, — вновь произнес Казанова. Однако его речь утратила всякий смысл. К чему продолжать? Его приняли за сумасшедшего. И больше он ничего не способен изменить. Ровным счетом ничего.

Архитектор вручил бумагу подрядчику. Тот разорвал десять требований на половинки, четвертушки, восьмушки и шестнадцатые доли, как будто сооружая цепочку бумажных человечков, а потом скатал из клочков мягкий шарик и кинул его собаке. Она сжевала оберточный лист с неожиданной деликатностью, совсем как гувернантка, которую угостили тушеной грушей.

Неловкая пауза затянулась: каждый ждал, что кто-то первым заговорит или начнет действовать. Милн сел за стол и кашлянул. Подрядчик завозился с цепью, намереваясь спустить собаку. Такого поворота событий Казанова никак не мог предусмотреть, он растерялся и внезапно вспомнил дурацкую венецианскую песенку — ее любили распевать проститутки на Калле-дел-ла-Пост:

Alla mattina una messetta
Al dopo dinar una bassetta

Alla sera una donnetta…

За спиной у него послышался гомон рабочих, и он замер от волнения. Неужели остальные все-таки решили к нему присоединиться? Раздались выкрики. Однако сидевшие за столом господа почему-то утратили к нему всякий интерес и поспешили к парапету, уже облепленному строителями. Казанова последовал за ними. Он возвышался над толпой и, наклонившись над шляпами и косицами, сразу заметил лодку, плывущую по течению над затопленным кессоном. На первых порах он не понял — спектакль прошел без его участия, а его выступление полностью провалилось. Но потом догадался, что река, в своей мудрости, отдала тело утопленника. Двое гребцов затащили того в лодку, приподняв над кормой. Вода давно смыла с мертвеца одежду, и лишь на ступне висел черный шерстяной носок, словно обвившийся вокруг ноги угорь, безуспешно старающийся проглотить труп целиком.

Покойника уложили на спину посередине лодки. Неуклюже распластавшееся тело сверкало, как будто смазанное свежим яичным белком. Один из гребцов окунул руки в воду и развязал свой носовой платок. Очевидно, он колебался, не зная, то ли ему закрыть этим платком лицо

утопленника, то ли его гениталии. И наконец набросил платок на открытые глаза и холодные алые губы. Рабочие шепотом произнесли молитвы и перекрестились, глядя на плывущую к берегу лодку. Казанова поспешил вернуться на место, но несколько раз споткнулся о разбросанные на мосту камни и доски и отстал от группы. Теперь его взор был устремлен на другую лодку, в двухстах ярдах вниз по реке. В ней сидели джентльмен в синем камзоле и дама в красном плаще и медленно, лениво гребли к морю. Он не мог объяснить, почему внезапно почувствовал такую боль, но когда лодка скрылась среди барж, остовов старых кораблей и беспрестанно сновавших судов, ему представилось, что они были последними обитателями его мира и с их исчезновением островок его жизни совсем опустеет. На мгновение он перегнулся через парапет, как будто собираясь прыгнуть и поплыть за ними, но Жарба стоял у него за спиной, и у шевалье не нашлось для слуги ни подзорной трубы, ни какого-либо иного подарка.

глава 11

Вечером после неудавшейся забастовки Казанова отправил Жарбу на Пэлл-Мэлл за двумя бутылками вина. Когда тот вернулся, от него пахло пеной для бритья и свежим бельем. Он принес корзину с белым вином, холодными цыплятами и макаронами. Жарба также захватил с собой зимний плащ шевалье с лисьим воротом и стальными пуговицами с гравировкой, едва ли не самый старый и дешевый в его гардеробе. Казанова накинул плащ на плечи, они устроились на Савой-стэйрз и при свете огней Сомерсет-хауса стали пить вино.

— Этот плащ, — начал Казанова. Он помедлил, смакуя последнюю каплю вина, и стер с губ цыплячий жир. — Этот плащ — весьма скромная награда за все страдания.

— Да, — ответил Жарба, пришедший в своем плаще. — Весьма скромная.

— Они не били меня, Жарба.

— Нет, — вновь подтвердил слуга.

— Я не могу вернуться к прежней жизни.

— Сейчас еще рано, когда-нибудь в будущем, — заметил Жарба.

— Почему бы нам не обосноваться здесь поуютнее? — задал риторический вопрос шевалье и с надеждой посмотрел на корзину. — Остальные привыкли к тяготам. Их кожа потолще нашей. А с другой стороны, мы с тобой… Там еще осталось вино, друг мой? Ты взял только две бутылки?

Казанова ждал и, по правде признаться, надеялся, что их уволят, но его расчеты не оправдались. Этот в равной мере удивительный и обескураживающий факт можно было приписать лишь нежеланию компании рисковать недовольством рабочих сразу после обнаружения останков утопленника. Следующим вечером Жарба вернулся с другой, уже более объемистой корзиной. Чего в ней только не было — холодные сыры, пироги с яблоками, шампанское. После еды Жарба побрил своего господина в кофейне «Голова турка» на Стрэнде при свете старой масляной лампы. Хорошее шампанское вновь пробудило в Казанове эгалитаристские настроения — он взял бритву, протер ее и, в свою очередь, выбрил слугу. Они задержались в кофейне до полуночи, потягивая шоколад и греясь у огня, но владелец все же наконец потревожил их — что пора, мол, закрывать. Они вернулись в ночлежку. Жарба достал свечу из кармана, вставил ее в горлышко бутылки

из-под шампанского и зажег, осветив их лица уютным огнем. Из другого кармана он вынул ночной колпак Казановы из овечьей шерсти.

— Я принес его вам, мсье. — Он отдал колпак шевалье, который размял его в руках и принюхался.

— Благословляю тебя, Жарба. Уж в таком-то пустяке никто бы мне не отказал.

Жарба аккуратно поправил столбик свечи.

— Да, мсье, не отказал бы.

Казанова окинул его пристальным взором.

Они позволили себе маленькие радости и утехи, но, как ни странно, это не облегчило им жизнь. Свежие рогалики и кофе не соответствовали суровому быту и тяжелому труду на мосту, для этого куда лучше подходил джин. А от ночных сорочек и чистого белья им не стало лучше спаться. Несмотря на усталость, по ночам они лежали с открытыми глазами и прислушивались к стонам. Ночлежка напоминала судно с эмигрантами, попавшее в шторм. Рабочие поглядывали на них с подозрением. Даже Рози казалась смущенной и неловко улыбалась, наблюдая, как преобразился у нее на глазах этот человек в лохмотьях под лисьим воротником.

В следующее воскресенье, когда дом опустел,

Казанова с Жарбой отгородили занавесками большой угол комнаты, поставили там стол и повесили два гамака. Они всучили хозяйке золотую монету, и старуха держала ее в зубах целую минуту, желая убедиться, что это не подделка. А привратник нашел для них кресла, несомненно, раздобыв их в чьей-то столовой. Вечером они зажгли лампы, и маленькая комнатка засияла, как уютная детская. Рози и Каспара пригласили к обеду. Холодный лосось блестел, как серебряная канитель, и какое-то время все четверо стояли вокруг стола, будто приверженцы некоего древнего культа, адепты обтекаемого жемчужного спасителя. Затем Жарба нарезал лосося ножами, обнажив сочную рыбную плоть, и Каспар поцеловал Казанове руку. Рози оглянулась и взяла вилку, будто какое-то неведомое и, по всей вероятности, опасное насекомое. Шевалье подбодрил ее улыбками и кивками. Его удивило, почему он раньше не обращал внимания на ее грязные, да что там, просто задубевшие от грязи руки. Неужели этой девушкой он обладал возле Темзы? Этой вороватой неряхой?

Пока они обедали, единственными долетавшими до Казановы звуками были урчание в животе у Каспара да знакомая тяжелая музыка кашлей

и стонов по ту сторону занавесок. Шевалье предложил поиграть в карты. Но австриец, хотя и клялся, что некогда любил проводить время за карточным столом, не помнил правил ни одной игры. Рози покачала головой, и растерянное выражение ее лица тотчас сменилось злобной гримасой. Казанова уже твердо решил, что не станет предлагать ей разделить с ним гамак, и, когда они кончили пить вино, встал и начал прощаться. Каспар обнял его, всплакнув на груди у шевалье, и побрел в темноту. Рози обошла стол. Казанова поклонился ей и на своем наилучшем английском пожелал ей «добраночи». Лишь потом он спросил у слуги, что она сказала, когда уходила. Жарба, развешивавший гамаки, бросил через плечо:

— Кто вы такой?

— Кто вы такой?

— Да, кто вы такой?

Они проработали на мосту еще неделю, хотя больше никого не приглашали на свои пиры, да к ним никто и не являлся. Рабочие чувствовали, что над ними посмеялись. Их страдания, казалось, были частью чужой, непонятной игры. Компания следила за Казановой, подозревая в мошенничестве, сговоре с соперничающими

синдикатами, и боялась, что он скроется темной, безлунной ночью, заложив под недостроенный мост пороховые заряды.

— Я чувствую себя, — признался шевалье Жарбе, когда они уединились во время утреннего перерыва, — как стакан ценой в шиллинг, который вот-вот расколется.

В четвертое утро той последней недели задул холодный ветер, и его ледяные пальцы глубоко проникли им в уши. Рабочие замотали головы тряпками, а Казанова надел монгольскую шапку из ячьей шкуры и завязал «уши» под подбородком. Именно в тот день подрядчик уволил их простым щелчком пальца. За этим жестом не последовало ни реплик, ни объяснений, ни прощания. Каспар стоял с другими рабочими и ждал, когда подъедет лодка. Он стыдливо потупил взор, уставившись на свои башмаки. Рози уже была на мосту. Казанова помахал ей рукой, полагая, что она его заметит, а потом повернулся и зашагал прочь. На что он рассчитывал? Неужели думал, что сумеет убежать от себя на цыпочках? Это был всего лишь карнавал, переодевание, детская игра, но когда Жарба отправился на Стрэнд искать наемный экипаж, Казанове вдруг захотелось вернуться, броситься к подрядчику и подкупить его,

чтобы тот позволил им еще немного поработать на мосту. И пока они не пересекли Хеймаркет, он не мог утверждать, что эпопея закончилась. Казанова решил считать, что во всем виноват Жарба, потом отказался от этой мысли. Они вошли в дом, миссис Фивер встретила их с распростертыми объятиями и воскликнула от радости. Неужели старушка в него влюблена, удивился шевалье.

глава 12

После возвращения они целую неделю наслаждались роскошью как наградой за перенесенные лишения, благо кошелек Казановы позволял это с лихвой. Внизу в комнатах высились серебряные вазы с гроздьями винограда величиной с мужской кулак, парниковыми ананасами, созревшими не по сезону абрикосами и продолговатыми лимонами. Эти лимоны так ярко светились в темноте, что рядом с ними можно было читать. Комнаты украшали и букеты редких цветов — их с научными целями вырастил в садах Кью, некий чудаковатый джентльмен. Они поражали фантастическими оттенками, их бутоны, казалось, невесомо реяли посреди гостиной.

У особняка дежурили наемные кареты. В ожидании иностранца и его слуги кучеры заигрывали с горничными и соревновались в плевках на дальность. Вечерами Казанова и Жарба выезжали в город на званые ужины или в игорные залы и вдыхали по дороге запах жарившихся на углях каштанов. Деньги разлетались, словно рой золотых мотыльков, и он, сам не зная почему, стремился от них отделаться — словно от заразы,

подтачивающей его слабые мускулы, словно от лисы, выедающей внутренности. Жарба ежедневно фиксировал расходы и однажды, подведя месячный итог, легким движением подтолкнул хозяину гроссбух, но тот не стал проверять и захлопнул расходную книгу. Еще несколько дней подобных трат, и шевалье придется снова наняться разнорабочим на мост или поискать очередную старую богачку, тоскующую по неотразимому прожигателю жизни.

Казанове нужно было успокоиться, побороть эту лихорадку безрассудства, и он предложил Жарбе попариться в турецких банях синьора Доминечетти в Челси. Нагота демократична, она уравнивает всех, и он без удивления увидел в банном зале известных всему Лондону епископов рядом с торговцами пряностями. Они проступали сквозь клубы пара, точно осетры в ханском аквариуме, и распознать табель о рангах можно было, лишь взглянув на раскрасневшиеся полные и благодушные лица. Шевалье прислонился к колонне. Жар обвил его шею, как любовница. Горячие, маслянисто густые струи пота хлынули из пор его лица, заструились по морщинам. Он посмотрел на свои руки. Даже теперь, освободившись от канатов, они то и дело выворачивались

и по-обезьяньи кривились. Казанова согнул их и подумал о Рози, о свайном молоте, о въевшемся трудовом поте. Если бы он заставил себя в нее влюбиться? Вот была бы история! Почему человек не может внушить себе это чувство, даже когда ему хочется? Почему нельзя просто сказать: «Я люблю эту девушку!» и начать ее любить. Отчего любовь нельзя нарисовать, как картину? Или сварить ее, как суп? У художника есть цель — создать образ, а умелая повариха знает много секретов. Вот и у сердца тоже есть свои законы: его влечет к себе мисс Х, оно очаровано мадам У. А если мисс Х или мадам У обманули его ожидания, остается лишь сжечь холст, вылить суп и начать все сначала. Бедная Рози! Теперь они похожи на два конца милновского моста, обреченные с каждым днем все сильнее отдаляться друг от друга…

Он зажмурил глаза, а когда снова открыл их, то увидел, как к нему движется окутанный паром человек. Какое лицо! Похож на алтарного служку, готового изнасиловать монахиню.

— Мой дорогой Сейнгальт!

— Приветствую вас, Гудар. Эта баня — сущий ад, и вы должны чувствовать себя здесь как дома.

— Я рад, что вы вновь вернулись к нам, шевалье. А в свете уже решили, что вы скрылись во

Франции от чар одной молодой особы.

— Уж вы-то могли бы не поддаваться слухам.

— Я? Знаете, я слышал одну замечательную историю. Человека, как две капли воды похожего на вас, видели работавшим на…

— Довольно! Я остановился у Ла-Корнелюс.

— У Корнелюс? Бедняжка, говорят, что ей суждено плохо кончить. Я понял, что вскоре ее должны арестовать за долги и никто из друзей-аристократов не протянет ей руку помощи.

— Да, верно, что она лишь изредка покидает дом. Когда знает, что безопасность ей гарантирована.

— К вашей чести, Сейнгальт, вы не бросили ее в беде. Но, наверное, вам все же скучно с ней. На вас просто лица нет.

— Вы опять хотите стать моим врачом?

— Вы должны знать, что я заинтересован в вашем благополучии, как в своем собственном.

— Если вы пришли занять у меня деньги, Гудар, то, как видите, в настоящий момент у меня ничего нет.

— Деньги? Думаю, что вряд ли. Я даже слышал, что прошлой ночью вы проигрались в пух и прах в «Кофейном дереве».

— Если человек не способен рисковать, ему

незачем садиться за игорный стол.

— Вы правы. Но разве у каждого не должен оставаться какой-то запас на черный день?

— Я не из тех, кто готов погибнуть из-за карточного проигрыша, и вам это известно.

— Да, я знаю, мой дорогой шевалье. У нас обоих есть свои системы. Мы умеем сохранять присутствие духа, как бы ни легла карта. Но я имел в виду не только деньги. Вовсе нет. Человек может лишиться многого другого и в конце концов погубить себя.

— Например?

— Лишиться доброго имени, своей репутации.

— Это мираж.

— Ему может изменить удача.

— Лишь глупцы полагаются на удачу.

— Потерять мужество и присутствие духа.

— Венецианцы никогда не теряют мужества и присутствия духа.

— Он способен сойти с ума.

— Они не сходят с ума.

— Тогда он может потерять себя.

— Как это человек может потерять себя? Гудар?.. Гудар!

— Разве вы не слышали, мсье?

Когда шевалье вышел из бани и двинулся к

карете, чтобы ехать через предместья к себе на Пэлл-Мэлл, Гудар заглянул в окошко изящного экипажа и пригласил Казанову вечером на раут к миссис Уэллс.

— А кто там будет? — полюбопытствовал шевалье, плотно завернувшись в плащ после банного жара.

— Вам нечего опасаться, — засмеялся Гудар. — Шарпийон туда не пригласили.

— Я совсем не думал о ней.

— Однако она о вас думает.

— Ха.

Казанова захлопнул окошко. Экипаж понесся к Лондону.

глава 13

Миссис Уэллс, сводня высшего ранга, славилась своими «раутами», «сборищами» и «посиделками». Шевалье Гудар и Сейнгальт прибыли вскоре после девяти вечера, и на улице у ее дома уже теснились кареты. Молоденькие форейторы в новых, с иголочки, и, очевидно, одолженных на вечер ливреях сидели сзади, на облучках, задирали друг друга, распевали хулиганские песенки и усердно поливали грязью чужих хозяев.

Внутри, в залах, было трудно дышать от обилия собравшихся — людей «первого сорта» или, вернее, «второго сорта». Каждый заглядывал соседу через плечо, пытаясь найти более интересного и влиятельного собеседника. Мужчины были краснолицы, пьяны и скучны, а женщины в пышных платьях скользили бесшумными стайками и стреляли глазами, как из ружей. В центре зала играл квартет. Музыканты успели вспотеть от натуги, но при том гомоне, который стоял в зале, могли бы играть хоть на спущенных струнах. Какой шум и грохот, какой несмолкаемый прибой болтовни! Даже о самых деликатных подробностях приходилось кричать своему спутнику

на ухо! Не похоже было, чтобы где-то подавали напитки, не говоря уже про обильное угощение. Казанова чуть не задохнулся и тут же стал мечтать о холодном, дымном вечернем лондонском воздухе.

— С какой стати мы сюда явились? — заорал он на ухо Гудару.

— О чем вы?

— Зачем мы сюда пришли? Здесь нечем дышать. Я не говорю по-английски. И подхвачу тут какую-нибудь заразу.

— Уж это правда! — громко откликнулся Гудар, которого чуть не сбил с ног военный, с трудом сдерживавший приступ тошноты. Когда он пробрался сквозь толпу и толкнул Гудара, тот как ни в чем не бывало обратился к Казанове: — Великолепный прием!

— Вы болтливая мразь, Гудар.

— Несомненно, — отозвался Гудар, рассеянно кивнул и дал знак миссис Уэллс, поглядевшей на них в театральный бинокль.

— Вы могли бы торговать собственной матерью, — продолжал Казанова с дружеской улыбкой. — От вас разит козлиным пометом, а ваш член не больше кладбищенского червя…

Он забавлялся, швыряя эти оскорбления в лицо

своему собрату по приключениям, собрату по духу. И лишь через несколько минут, когда его фантазия начала иссякать, понял, что Гудар, отвечавший невнятными междометиями, играл в ту же самую игру.

Человеческая волна, внезапно устремившаяся в холл, подхватила Казанову и Гудара и вынесла из гостиной к нижним ступеням лестницы миссис Уэллс с колоннами из вязов. Несколькими ступенями выше стояла знаменитая лондонская куртизанка Китти Фишер, дочь немецкого портного-иммигранта, и ела банкноту, положенную на бутерброд с маслом. Казанова узнал ее, хотя формально их не представляли друг другу. Это была банкнота в тысячу фунтов, подарок богатого поклонника, которому доставляло удовольствие, когда женщины в буквальном смысле проедали его деньги. Шевалье ослепил блеск драгоценностей на платье девушки, и он подумал: вот истинный символ города и символ времени. Девушка ест наличность, а будь ее нос на полдюйма длиннее, сидеть бы ей в отцовской мастерской и пришивать бы пуговицы при свете тусклой, тонкой свечи.

— С ней до сих пор можно забавляться, — произнес Гудар, выглянув из-за плеча Казановы. — Как

обычно и за твердую цену. Без всяких церемоний. Если вы, Сейнгальт, интересуетесь…

Что за существа были эти куртизанки! Женщины, славившиеся своей вызывающей порочностью. На ней и только на ней основывалась их репутация. Ими восхищались, но в женах и дочерях те же качества не вызывали у мужчин ничего, кроме сурового осуждения. Он покачал головой. Скольких он знал, знаменитых и безвестных, обедал с ними, наслаждался их кокетством и ловкими приемами, овладевал ими в парках, в отдельных кабинетах ресторанов, в каретах и с годами все чаще замечал у многих из них фальшивую улыбку и не желал себя обманывать. На мгновение он подумал об отце Китти. Она была еще очень молода, и блеск ее нарядов привлекал к ней постоянное, весьма двусмысленное внимание. Тревожило ли ее это? Хватало ли у нее ума отчаиваться? Отчего он вдруг так расчувствовался? Сентименты хороши в молодости, а ему незачем принимать судьбы куртизанок близко к сердцу.

Когда девушка доела хлеб и банкнота растворилась в кислотах ее желудка, раут подошел к концу. Гости, словно призраки на закате, столпились у выхода и принялись окликать свои

кареты.

— Куда они спешат? — спросил Казанова, пробираясь вместе с Гударом и Жарбой мимо стоявших вплотную экипажей и чуть не задевая спицы их колес. — И кстати, куда спешим мы сами? Нас еще где-то ждут?

— Мы сейчас поедем к Малингану! — воскликнул Гудар. Он опередил Казанову с Жарбой и протиснулся к экипажу, энергично орудуя локтями в толпе. — На скромный ужин. И долго у него не останемся.

глава 14

Там их, во всяком случае, угостили вином. Малинган наполнил бокал шевалье, а когда тот осушил его, налил снова. Он держался с Казановой дружески, чуть ли не запанибрата, словно они некогда обошли вдвоем весь земной шар. Познакомил его с двумя миловидными дамами из Льежа и их мужьями. Они поговорили о Льеже, но быстро исчерпали эту тему. После разговор зашел об Англии, и собеседники посмеялись над манерами англичан. Они выпили еще вина. Женщины играли со своими бриллиантами и веерами. О Сейнгальте эти дамы ничего не слышали, но о Казанове, конечно, было известно даже в Льеже.

Гостей позвали к столу. Сервировка была не слишком пышной — чуть-чуть хрусталя да немного серебра, очевидно, заемные, поскольку жил Малинган лишь на армейскую пенсию и карточные выигрыши и с трудом сводил концы с концами. На стол подали большую супницу, и старшая дочь Малингана, Эмили, девочка простоватая и пресная, будто книга псалмов, разлила по тарелкам рыбный суп. Казанова страдал от

жажды и выпил больше вина, чем позволял себе в гостях. Ему казалось, что на дворе не поздняя осень, а жаркий июль и он сидит на площади в Венеции и стакан за стаканом пьет «гарбо». Он улыбался всем, даже Гудару. Если человек ничего не ждет от жизни, она способна приятно удивить, мелькнуло у него в голове. Казанова заговорил с одной из молодых жен и успел, пока их бокалы не опустели, провести по ее кисти кончиками пальцев. Когда они расправятся с мясом, он планировал перейти к более активным действиям. Почему бы не потискать ей ноги под столом? Молодые жены созданы для удовольствий и готовы к ним в любую минуту. С ними можно вести себя решительно, как-никак им незачем сохранять добродетель. А их мужья с облегчением вздохнут от этих знаков внимания и спокойно выпьют, поиграют в карты и сами позабавятся с любовницами. Или даже просто поспят. Диву даешься, сколько молодых людей спустя всего полгода после свадьбы вечерами дремлют у каминов, а потом тайком забираются в кровать, опасаясь разбудить жен, и считают свое поведение галантным.

Шевалье описал ей несколько японских эротических книг, поведав об их содержании с

максимальным тактом и изяществом. Когда-то их показал ему один господин из Ватомандри. Однако молодая дама слушала его невнимательно и вскоре перебила, вынув рыбную косточку из щербины между передними зубами.

— Нам нужно найти еще одно место за столом, мсье, — сказала она.

— Почему, мадам?

— К Малингану новая гостья, — пояснила дама. — Вы ее знаете?

Когда ужин завершился, все встали, мужчины расстегнули верхние пуговицы бриджей, а слуги расставили столики для карт. Малинган шепнул на ухо шевалье:

— Поверьте, я понятия не имел, что Шарпийон явится ко мне сегодня вечером. Я ее не звал. Надеюсь, что вы не сомневаетесь?

— Такие женщины не нуждаются в приглашениях, — отозвался Казанова, уловив пристальный взор Шарпийон из-за ободка бокала. — У нее нет ни капли стыда.

— Надеюсь, что вы нас сейчас не покинете, — добавил Малинган.

— Так просто меня не выгонишь, — произнес шевалье и стиснул зубы. — Прошу вас, не шепчите мне больше на ухо. А не то люди подумают,

будто у нас какие-то секреты.

Малинган отошел и обменялся взглядом с Гударом. Казанова тяжело вздохнул, с яростью посмотрел вниз, на узоры ковра, и приложил все усилия, чтобы его лицо по-прежнему оставалось оживленным и добродушным, а из груди не вырвалось ни звука. Он помог передвинуть мебель к стенам, чтобы освободить место для карточной игры. Одна из льежских дам сетовала, что все они должны на следующей неделе вернуться в Остенде, так и не повидав английские предместья.

— Мадам, — обратился к ней шевалье, обрадовавшись возможности продемонстрировать свое безразличие к запоздалой гостье. — Нам следует исправить это упущение. Позвольте предложить вам небольшое путешествие ко дворцу Хэмптон-Корт. Обычную семейную поездку, без всяких торжеств. Вы сможете полюбоваться предместьями и великолепным зданием. Это было бы так приятно. Но мы должны ехать завтра или никогда.

Он сделал несколько шагов и так удачно выбрал место, что очутился между Шарпийон и остальными гостями, повернувшись к девушке спиной. Если кто-то до сих пор не верил, что он к ней полностью охладел, то теперь Казанова

доказал свое отношение.

— Поручите мне заняться поездкой и ни о чем не беспокойтесь, — сказал он. — Я выступлю кем-то вроде почетного англичанина. Сейчас нас восемь человек, и нам потребуются две кареты — по четыре пассажира в каждой…

— Но нас будет девять, — услышал он знакомый девичий голос. — Неужели вы думаете поехать без меня?

Шевалье повернулся к ней и притворился, что удивлен появлением Мари.

— Разумеется, нет, — предельно холодно ответил он. — Я просто недосчитал. Девять — нехорошее число, но я предлагаю простое решение. Я поеду верхом. А вы займете мое место.

— В этом нет никакой необходимости, — возразила Шарпийон. Она подошла к Казанове и взяла его за руку. — Я усядусь у вас на коленях. Надеюсь, что никто не сочтет это неуместным.

Гости вежливо улыбнулись, словно их пикировка была привычной игрой на публике двух давних любовников. Теперь девушка глядела на него с вызовом, и ему стало страшно; ее красота засасывала, точно омут. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала шевалье в подбородок. Собравшиеся зааплодировали.

— Я вернусь сюда в восемь часов утра с двумя каретами, — сообщил он.

— На Сейнгальта всегда можно положиться, — неторопливо отметил Гудар, взял со стола колоду карт и перетасовал их одной рукой. Этот прием никогда Казанове не удавался.

глава 15

Еще одна тяжелая, мучительная ночь: во сне шевалье бежал по венецианской улице, и за ним неотступно следовали люди в белых масках с длинными носами. Их черные плащи до пят развевались и шелестели, будто кожаные крылья дьявола. Он прибыл к Малингану без десяти восемь утра, с синими кругами под глазами и запахом пересохшей земли во рту.

Хозяева и их гости завтракали, предвкушая приятную поездку, а Шарпийон так и сияла. Она оживленно беседовала с молодыми женами; похоже, за ночь они успели поделиться друг с другом самыми своими сокровенными тайнами. Девушка усадила Казанову рядом и попыталась соблазнить его рогаликами с маслом и несколькими ложками шоколада, но у него — хотя он ничего не ел после ужина — кусок в горло не лез. Чем нежнее она за ним ухаживала, тем угрюмее он становился, и когда они поднялись и двинулись к каретам, шевалье испугался, что у него отнимутся ноги. В эту минуту он ненавидел Шарпийон, ненавидел страстно и самозабвенно, зная, что способен на любое преступление.

Казанова сел в переднюю карету, следом забрался Гудар, а одна из льежских дам и ее супруг уселись напротив, спиной по ходу движения. Шарпийон вошла, когда они уже устроились, и примостилась на коленях у шевалье. Одна ее рука в розовой перчатке ухватилась за ремешок над дверью, а другая легла ему на плечо, как холеная декоративная свинка.

В этот час воскресные улицы были почти пусты. Заледеневшая от ночных заморозков грязь еще не успела оттаять. По пути им сначала встретились нищие — те приводили свои язвы в товарный вид, прежде чем вылезти на паперть, — а потом группа квакеров в широкополых шляпах, спешившие в молельный дом. От толчка кареты Шарпийон подпрыгнула на коленях у Казановы и прижалась к нему. На первых порах он ощутил лишь раздражение от ее неловкого и откровенно кокетливого жеста и попытался отвлечься, припомнив имена всех венецианских дожей, начиная с Пьетро Кандиано IV. Но когда кареты добрались до развилки и охранник в будке хмуро покосился на шумную компанию богатых иностранцев, шевалье дошел только до Томмазо Мосениго — и был возбужден сверх всякой меры. Казанова вновь оказался во власти похоти с ее

грубым и бездушным механизмом и проклинал себя за слабость. Чем сильнее он приказывал плоти сопротивляться, тем безнадежнее были его попытки, как будто сквозь пустотелую трубку его позвоночника выдували облака опиума. *Cospetto!* Какая неровная, бугристая дорога. Еще одна такая же впадина, и он сбросит Шарпийон на пол и возьмет ее по-собачьи.

В это время ехавшая за ними карета остановилась — у Эмили пошла носом кровь, и Казанова не преминул воспользоваться удобным случаем. Их экипаж тоже застыл на месте, пассажиры выбрались, окружили дочь Малингана и наперебой начали давать ей советы. Шевалье осмотрелся по сторонам, проводил взглядом плывшую по реке баржу с красными парусами. Матросы сидели поверх штабеля бревен, словно тоскующие от безделья дети. Наконец он взял себя в руки, отогнал женщин от перепуганной девочки и отнял от ее лица носовой платок. Ему вспомнилась старая колдунья с острова Мурано. Она лечила Казанову от детских кровотечений искусным наложением рук и тихими заклинаниями. Не последовать ли сейчас ее примеру? Казанова наклонился, сделал руками несколько пассов и пошептал. Вскоре Эмили смогла встать на ноги, хотя ее платье по-

крывали темно-красные пятна крови, похожие на спелые вишни.

— Ну что, едем дальше? — спросила Шарпийон.

Она выжидательно замерла на ступеньке первой кареты, но шевалье, настояв на том, что должен понаблюдать за здоровьем своей юной пациентки, взял Эмили за руку и быстро забрался во второй экипаж. Он был так добр! Все лишь об этом и говорили. Малинган согласился сесть рядом с кучером, и кареты опять тронулись в дорогу.

— Как вам это удалось, мсье? — осведомилась одна из льежских дам.

— А вот так! — Шевалье взмахнул руками, как крыльями. Дочь Малингана не отрывала от него робких, преданных глаз. Ее, несомненно, заворожили заклинания Казановы. Он улыбнулся девочке, прижался головой к деревянной спинке и уснул. Никто кроме Джакомо Казановы не умел так засыпать в карете.

глава 16

Несмотря на фонтаны, каменные статуи геральдических животных и часы на башне, дворец Хэмптон-Корт не шел ни в какое сравнение с Версалем и скорее напоминал обычный особняк. В нем не чувствовалось ни мрачного величия, ни сознания власти, неотъемлемого от огромных версальских залов с росписями. Грубая кирпичная кладка замка сверкала в полуденном свете, а пожилые садовники катили свои тачки по гравиевым дорожкам с таким видом, словно торопиться им совершенно некуда.

Казанова и его спутники гуляли по саду. Шевалье замыкал шествие, а бок о бок с ним шла Шарпийон. Сначала он старался ее опередить или остановиться и вынуть камешек из башмака. Но оторваться от девушки ему никак не удавалось. Впрочем, как ни странно, они мирно беседовали, и их разговор походил на сплетни актеров за кулисами — в костюмах, при полном гриме — в ожидании нового выхода на сцену. Шевалье невольно улыбнулся. Ее бабушке нездоровилось, но у них постоянно бывал врач. У ее матери неважное настроение, она озабочена расходами

по дому. Хозяин их особняка настоящий хам и не гнушается откровенным запугиванием. Конечно, когда тетя продаст партию бальзама, их дела наладятся. Понравилось ли мсье ее новое платье? Она чуть не ослепла, пока шила его.

Час проходил за часом. Они восхищались дворцом и природой. В три пополудни все пообедали в местной гостинице и решили еще раз посетить сады перед отъездом в Лондон. На тропинки ложились продолговатые тени от подстриженных конусами деревьев, и, когда они перешагивали из света в тень и из тени в свет, Казанове хотелось, чтобы дорога тянулась как можно дальше. Все пережитое за последние месяцы внезапно развеялось в воздухе — его смятение, работа на мосту, страшные сны, скопившиеся невзгоды и унижения перестали что-либо значить. Это случилось не с ним, с кем-то еще. Драмы и крутые повороты его судьбы на поверку оказались неважными, а важно было… Что же? Да ничего важного и не было… Чудеса… Поймет ли его Шарпийон, подумал он и уже собирался пуститься в объяснения, но тут она взяла шевалье за руку, заставила замедлить шаг. Когда их спутники скрылись за деревьями, девушка приложила палец к губам и повела его назад, вдоль восточного фасада двор-

ца. Они миновали ворота с колоннами и вошли в знаменитый Хэмптонский лабиринт.

Там среди изгибов живой изгороди из граба царила глубокая полуденная тишина. Шарпийон сжала его пальцы, и он покорно последовал за ней. Налево, направо, налево, направо, налево, направо. Казанова не мог решить, какая роль ему досталась. Кто он — Тезей или Минотавр? Но чем дальше они погружались в лабиринт, тем меньше он ощущал себя похожим на кого-либо — просто женщина уводила мужчину в зеленую сердцевину сада.

В центре лабиринта они устроились в нише теплой земли — залитом солнцем треугольнике. Вот уже несколько минут никто из них не проронил ни слова, и молчание стало для обоих неким пактом и связующей нитью. Он опустился перед ней на колени и прижался губами к ее теплой щеке. Она не сопротивлялась, не отталкивала его, даже когда он легким, осторожным движением запрокинул ее на спину и поцеловал в губы, сперва нежно, словно спящую, которую боялся разбудить, а затем все крепче, сильнее, полновеснее. Наконец он почувствовал — преграда сломлена и она больше не пытается ему что-то доказать и не изображает недотрогу. Он цело-

вал ее жадно, взасос, порой так пьют мужчины, сжимая бутылку обеими руками, растворяясь в собственной жажде, впитывая сладость напитка.

Он ощущал ее дрожь, слышал прерывистые вздохи. От этих стонов великолепного отчаяния, от негромкой музыки страсти и готовности к насилию у любовников всегда идет голова кругом. Казанова сорвал парик и швырнул его на траву. Ее юбки и нижнее белье задрались и сбились в кучу вокруг бедер. Волна шелка и надушенного белья продолжала ползти. И вот наконец — о *consolazione*[22] — парадоксальный глаз, наиболее источающий слезы в момент наивысшего наслаждения, укрыт лишь прозрачным полумраком.

Шевалье впился ногтями в бриджи. Он желал бы их сорвать, словно они были из легкой, тонкой бумаги, но когда принялся расстегивать пуговицы, что-то у него разладилось. Минутное невнимание к чувственной погоде внутри, и все пошло насмарку. Он с ужасом вздохнул и понял, что оказался жертвой случайности, простительной только новичку. Обычно при таких казусах он не испытывал ни стыда, ни неудобства, и ему было нечего терять, кроме остатков гордости или

---

[22] Примечания: 22
Утешение *(ит.).*

стоимости хорошего ужина. Однако сейчас это приобрело масштабы настоящей катастрофы.

Казанова надеялся, что Шарпийон не заметила его слабости, и по-прежнему отчаянно тискал, щипал и кусал ее юное тело, покрывал его поцелуями, но вскоре она поняла, что он не сможет ею овладеть, и села. Вопреки его опасениям, девушка не смеялась. Она расправила кудри, одернула юбки и тактично не обращала на него внимания. Он умолял простить его. Конечно, в девяноста девяти случаях из ста… Не примет ли она это как дань ее красоте? Если она хоть на миг простит его и милостиво позволит продолжить, все придет в норму. И правда, он переборол себя предельным усилием воли и доказал ей это — доказал грубо, не поскупившись на угрозы и оторвав две пуговицы…

— Я думаю, — сказала Шарпийон и окинула его беглым взглядом, — что нам лучше поискать остальных.

Он посмотрел на нее с отвисшей от изумления челюстью. Будь она порасторопнее, ей бы удалось от него убежать. Но Шарпийон растерялась, упустила минуту и, когда поднялась с травы, он схватил ее за руку и снова привлек к себе.

— Мне не нравится, как вы глядите на меня,

мсье, — проговорила она. — По-моему, за один день мы сделали уже достаточно.

— Вы сошли с ума? — прошипел он. — Неужели вы вообразили себе, что я смогу вас отпустить?

Он продолжал держать ее одной рукой, а другой полез в карман и достал свой складной нож, свою маленькую венецианскую палочку-выручалочку на все случаи жизни, вынул зубами лезвие и приставил к ее шее. Уколол — и извлек капельку крови. Затем его осенило мрачное вдохновение, поднявшееся из глубин психики, и он приставил лезвие к собственному горлу.

— Мсье, — проговорила она, постаравшись, чтобы ее голос прозвучал с устрашающим мужеством. — Вы, кажется, так и не решили, кого именно собираетесь убить. И если сейчас же не сделаете свой выбор, то холодный воздух убьет нас обоих.

Шарпийон попробовала встать, но он удержал ее. И торопливо, боясь осечься, обрушил на нее целый град отборной ругани, не забыв ни одного словца, какое мужчина только может адресовать женщине. Когда он кончил, вокруг заметно стемнело.

— Я такая, как есть, мсье, — ответила девушка.

— Мне вас жаль, — чуть слышно произнес он и

понял, что еще никогда не чувствовал себя столь усталым и опустошенным.

— И мне вас жаль, — без всякой злобы промолвила она.

Где-то вдали, в парке, раздался голос искавшего их Малингана. Шарпийон наконец вырвалась и освободилась, встала на ноги и смахнула с платья засохшую травинку. Она еще раз смерила шевалье долгим, не поддающимся прочтению взглядом, а потом быстро двинулась по тропинке между оградами. Ее голова вырисовывалась на фоне первых звезд, вспыхнувших на алмазно-синем вечернем небе. Их тяжелый, равнодушный свет струился над силуэтами дворцовых труб. Казанова по-прежнему стоял на коленях, с приставленным к собственному горлу ножом и с бычачьей эрекцией, и несколько минут не мог оторвать от них глаз.

...

— Синьор, вы не сумели скрыть ваш искренний порыв. Секрет вашего обаяния стал причиной вашего бездействия.

— Я благодарен, синьора, что вы не отказываете мне в былом обаянии.

— Ваш рассказ это подтверждает. Однако для Шарпийон одного обаяния, кажется, было недостаточно.

— Я так никогда в этом и не разобрался. Но, должно быть, вы правы.

Все это было так давно… Но откуда Шарпийон знала, что случится в лабиринте? Неужели она постоянно была на шаг впереди?

— Конечно, синьор, вы были значительно старше ее.

— Ха. Ничего особенного в этом нет, синьора. Хорошо известно, что молодые девушки предпочитают мужчин постарше. Более опытных. Более…

— Богатых?

— Глаза девушек разгораются от блеска золота. Это лучший возбудитель. Они скорее выберут золото, чем красивое лицо.

— Я бы сказала, синьор, что мужчина, которому нечего больше предложить, должен, по крайней мере, располагать деньгами, если не желает проводить вечера в одиночестве. Ну, а что вы скажете о молодой женщине, съевшей банкноту?

— Деньги значили для ее желудка больше, чем для кошелька.

— А Шарпийон?

— Она, подобно неурожаю, взвинчивала цену на хлеб, зная, что люди в любом случае заплатят за что-то настолько дефицитное и необходимое.

— Вы когда-нибудь думали, синьор, как повели бы себя на ее месте? Мне кажется, что вы с ней похожи, как две капли воды. Но скажите мне, вы по-прежнему считаете, что она не питала к вам никаких нежных чувств?

— Я считаю, что она меня ненавидела.

— Хотя заявляла о своей любви.

— И не раз.

— Но вы ей не верили. Вы предпочли полагаться на золото.

Он поморщился. Неужели на каком-то повороте судьбы он утратил веру в человеческое сердце?

— Синьора, — начал он. — Мы все рождены в счетных конторах…

Но не договорил, зашедшись внезапным

кашлем, разбрызгивая по сторонам мокроту. Он сплюнул в свой носовой платок, а затем, совсем как старуха, заткнул его за обшлаг рукава.

— Я часто размышлял над тем, — сказал он, поглядев на свечу и прикинув, много ли воска сгорело и сколько еще осталось, — что когда люди говорят о любви, каждый вкладывает в это слово свой смысл. И все понимают ее по-разному.

— Нет, синьор, для каждого она значит одно и то же. Но вы прервали свой рассказ. А мне хотелось бы узнать, какой новый план у вас появился, когда вы в конце концов выбрались из лабиринта.

Он покачал головой:

— По-вашему, я из него выбрался, синьора? А вот я в этом сомневаюсь…

глава 17

— Есть некая граница, — произнес Джонсон, приколачивая молотком и закрепляя декоративный падуб над оконной перекладиной, — за которой мы перестаем что-либо понимать. Это, если угодно, последний предел рассудка, один шаг дальше — и язык и вся энергия разума делаются бессильны. Они ничего не могут нам дать. Мы никогда не сумеем разъяснить до конца наши деяния и не проникнем в душу другого человека во всей ее полноте. Это, мсье, прерогатива нашего Творца.

Казанова, ощущая наркотический эффект от такого количества выпитого чая, угрюмо кивнул:

— Мы обречены жить в полном неведении.

— Нет, мсье. Вы преувеличиваете и впадаете в иную крайность. Вы пьете в жаркий день кружку пива, потому что страдаете от жажды, и никакой тайны тут нет. Однако некоторые наши поступки столь противоречат нашим интересам…

— Например, моя одержимость одной особой…

— Это я и имел в виду. Подобные движения души трудно оценить. В данном случае обычная вспышка страсти не способна объяснить

упорство, с которым вы преследуете существо, не принесшее вам ничего кроме боли. Я сужу по вашим словам. Кругом полно молодых девушек, и она лишь одна из многих. Не сомневаюсь, что большинство из них не устояли бы ни перед вашими магнетическими чарами, ни перед вашим кошельком. Вы оказались в полной зависимости, мсье, от ваших бед и ваших удовольствий.

— В Серениссиме мы говорим: «Человека, не умеющего плавать, неудержимо тянет к воде». Но разве нас не спасает здравый смысл?

— Да, мсье, — отозвался хозяин дома. — Здравый смысл мог бы нас спасти, будь у него свой язык. Но мы неверно определяем ум и принимаем за него нечто совсем иное. Мы себя обманываем. Вот и ваш нынешний план, мсье: стать писателем, ученым, рабочей лошадью — одна из таких иллюзий.

— Профессия может меня прославить.

— А вот меня она состарила раньше времени. Я работал как вол и получил лишь крохотное вознаграждение.

— Но разве король не назначил вам пенсию?

— Мсье, столько же вы тратите в год на новые башмаки.

Казанова глянул себе под ноги и пожал пле-

чами:

— Что бы вы ни говорили, это достойная и уважаемая работа. В чем я совершенно убежден.

— Выходит, строительство моста, — с хитрым прищуром заметил лингвист и отступил на шаг, чтобы полюбоваться сделанным, — было просто достойной работой?

Перед тем как покинуть дом на Пэлл-Мэлл и отпраздновать с Джонсоном Рождество, шевалье дал себе клятву, что не скажет ни слова о мосте. Пусть это останется его тайной. Однако, едва открыв дверь на Иннер-Темпл-лейн, он тут же начал исповедоваться, и когда они выпили первые чашки чая, великому лингвисту уже все было известно. Хуже того, Джонсон нисколько не удивился, будто давно подозревал, что Казанову хлебом не корми — дай только поучаствовать в строительных работах и поспать в грязи. Неужели я никогда не выучусь держать язык за зубами, с горечью подумал шевалье. А ведь давно пора.

На улице раздались звонкие детские голоса. Рождественские песнопения. Джонсон набил карманы яблоками и спустился к детям. Казанова остался в комнате, согрел руки у огня, повернулся, поднял воротник и с восхищением осмотрел маленькую уютную комнату, заполнен-

ную книгами, рукописями, дырявыми носками и немытыми кружками с приливными линиями въевшегося танина. Он взял старое перо лингвиста и дохнул на его острый, заточенный край. Что бы там ни говорил Джонсон, после свидания с Шарпийон в Хэмптон-Корте необходимость навсегда покончить с прежней жизнью стала для шевалье совершенно очевидной. Конечно, в тигле рассудка, в загадочном огне человеческого разума подобная трансформация возможна, хотя работа на мосту успела его научить: перемены должны происходить постепенно. Если надувать шар слишком резко, он может лопнуть, а руки Казановы привыкли к более тонким, но в то же время мощным инструментам, чем кирка или лопата! Удивительно, что он додумался до этого лишь теперь. Его преклонение перед писателями — и писательницами, ибо оно распространялось и на пишущих женщин (он не раз бывал в салоне у мадам Дю Деффан и мадемуазель Д'Эспинас на улице Сен-Доминик), — не убывало с годами. А удовольствие, с которым он посещал книжные лавки или осматривал библиотеки во дворцах знати, почти опьяняющее чувство, когда он устраивался у окна с любимой или давно желанной книгой…

Сперва он напишет «Историю Венеции» в шести томах — самое длинное любовное письмо, когда-либо посвященное чудесному городу. За ней последует трагедия, и для нее он воспользуется особо сложным размером. Трахеическим пентаметром? Или протяжным дактилическим гекзаметром? А после — философский роман в стиле «Кандида», но, конечно, много лучше, чем «Кандид». Он с насмешкой изобразит в нем причуды века и противопоставит им идиллию простой жизни. Человек способен состариться в этих неустанных трудах, может даже потерпеть неудачу, не ощущая и тени позора.

— Замечательно! — воскликнул Джонсон, появившись в дверях. — Как счастливы были эти ребятишки, получив по яблоку. А сейчас, мсье, я должен выбить у вас из головы этот вздор насчет Граб-стрит.

— Что за Граб-стрит?

— Это улица неподалеку отсюда. Там живут печатники и нищие, отчаявшиеся поэты. А еще мы называем так определенный аспект человеческого бытия. Смесь несбывшихся, застарелых фантазий, мсье. Патагонию души.

— Вы твердо решили меня обескуражить, — заявил шевалье. — Что же, попробуйте, но вам это

не удастся. Человек должен быть готов к перемене участи.

— Человек, мой дорогой шевалье, это то, что он есть. Он должен использовать то, что ему дано от природы. Если он просто переоденется, то не станет кем-то иным.

— Напротив, разве мы не становимся со временем такими, какими намерены быть? Когда мужчина берет мушкет и идет на войну, то в кого он превращается? Да только в солдата, а его прошлое ничего не значит. В кого превращается самая добродетельная женщина, когда ей вдруг приходит в голову продать себя за шиллинг? В настоящую шлюху.

— Конечно, мы вольны как угодно уродовать себя, но это не изменения. Вы должны знать, мсье, что как бы мы ни желали скрыть нашу сущность, она всегда проявится. Всплывет на поверхность.

— Как труп в канале? Неужели эта вера еще не разбила ваше сердце? Какое бессилие! Почему вы отказываетесь предоставить людям хоть немного свободы?

— Свободы притворяться? Такую свободу я ни во что не ставлю.

— Это голос отчаяния.

— Да никакой это не голос! А констатация фак-

тов. Чем скорее вы смиритесь и овладеете собой, тем скорее в вашей душе воцарится мир.

— Могу лишь сказать, мсье, — не без обиды заметил Казанова, — что вы не венецианец.

— Верно. И не стану им, просто-напросто заговорив на вашем языке и прокатившись в *burchiello*[23]. Но хватит об этом. Сегодня Сочельник, и я собираюсь познакомить вас с одним джентльменом из прихода Сент-Джайлс.

---

[23] Примечания: 23
Гондола *(ит.).*

глава 18

Когда Казанова вышел на улицу, ему сразу захотелось надеть еще одну пару шерстяных чулок, и хотя его уверили — и уверили с восторгом в глазах, — что к вечеру похолодает и станет еще противнее, погода и без того была холодной и противной. Он следовал за Джонсоном по узким переулкам вокруг Темпл. Его провожатый швырял слова на ветер, а тот подхватывал их и швырял в голову шевалье, как обрывки бумаги, которые тому не удавалось поймать.

Они проехали в лодке до Вестминстера, потом направились на север, миновав сперва проспекты с великолепными зданиями, приземистыми и крепкими, как отставные генералы, сидящие на скамейках, а затем грязные, кривые улочки с их опасными переходами. В полутьме Джонсон вновь превратился в человека-тень и шел с привычным безмятежным спокойствием. «Возможно, когда-то господин лексикограф знал эти трущобы поближе, — принялся размышлять Казанова. — Интересно, если покопаться в его прошлом, что там обнаружится? Слои разных Джонсонов, громоздящиеся друг на друге, будто

развалины древних, заброшенных городов».

— Еще недавно, мсье, — пробасил человек-тень, — в этом квартале в каждом втором доме была винная лавка. Здесь и теперь полным-полно грабителей с большой дороги, насильников, наемных убийц и соглядатаев. Их легко отличить по уверенной походке и причудливым жилетам.

— А джентльмен, к которому мы сейчас идем, он что — один из них?

— Нет, мсье, он просто их сосед. У джентльмена, к которому мы идем, нет жилета…

Они свернули к одному из неказистых домишек и поднялись по лестнице в мансарду. Джонсон постучал. К двери подошла женщина с короткой свечой в одной руке. Другой рукой она держала ребенка с лицом, сморщенным, как бумажный шарик.

Лексикограф заговорил с женщиной. Казанова услышал свое имя и поклонился. Она поглядела на него так, точно он был великим визирем из Дамаска. Джонсон положил монету на притолоку над веревками с бельем, мерно вонявшим от жара в очаге. Женщина заплакала. Ребенок проснулся и присоединился к ней. Другие дети виднелись смутными тенями на кроватях в дальнем углу. Над ними неуклюже-заботливыми мотыльками

витали руки Джонсона.

— Мистер Паттисон у себя в клубе, — пояснил человек-тень, когда они опять очутились на улице.

— Это неудивительно, — откликнулся шевалье.

Они свернули на восток, спустились по Холборн-Хилл к Смитфилду и Чипсайду, продвигаясь шаг за шагом к сердцу Лондона — Городу ужасной ночи. Джонсон помедлил в путанице улиц за Лондонским мостом, осмотрелся по сторонам, принюхался к спертому воздуху, а затем с силой толкнул тяжелую дверь ворот и вошел во двор стекольного заводика.

— Мистер Паттисон!

Они остановились на задворках маленькой фабрики, усыпанной грудами пепла от ее труб, маячивших на фоне беззвездного неба зонами еще более густой черноты, испуская клубы яркого дыма; в остальном же место казалось пустынным и диким. Джонсон снова окликнул своего знакомого, и через минуту на поверхности возникла голова, словно морской котик — из серо-пепельного моря.

— И это клуб? — удивленно прошептал Казанова.

— Один из нескольких, — ответил человек-тень и представил шевалье мистеру Паттисону, который возник перед ними, будто призрак, и смахнул с рукавов пепел.

— *Enchanté*[24], — проговорил Паттисон. Можно было подумать, что он ежедневно встречался в этом месте с подозрительными иностранцами.

Они прогулялись по улицам, холодный дождь хлестал их по щекам, а ветер свистел в переулках. Это был глухой, страшный квартал, пустошь без единого фонаря. Добравшись до центра какой-то безымянной улицы, трое мужчин вошли в пивную и сели за стол в верхней комнате. На полу валялись петушиные перья и виднелись подтеки полузасохшей крови. Ничего слабее стаута тут не подавали, и Джонсону пришлось заказать три кружки горячего флипа и горох для мистера Паттисона. Когда перед ним поставили блюдо, он жадно накинулся на еду и глотал горошины непрожеванными, пока не задохнулся. Руки Паттисона дрожали, а несколько серых шариков вылетели у него изо рта и покатились по столу к коленям Казановы. Поглядев на нового знакомого, шевалье счел себя обязанным вернуть ему

---

[24] Примечания: 24
Я очарован *(фр.)*.

эти горошины. Поэт поблагодарил его и съел во второй раз, с бóльшим успехом.

— Этот джентльмен, — проговорил человек-тень, указав на Казанову, — желает стать нашим коллегой. Что вы на это скажете, мистер Паттисон? По-доброму ли обошлась с вами наша профессия?

Поэт улыбнулся. Лицо у него было еще молодое, но огрубевшее от голода и слабости. Контраст этой изможденности с тонкими чертами бросался в глаза, и казалось, что столь чувствительного человека способен испугать даже взмах крыльев. С таким лицом не доживешь и до сорока лет, подумал шевалье. Паттисон тяжело, астматически вздохнул и ответил:

— Мое положение почти безнадежно, и вы это знаете, мистер Джонсон. Уж таков я есть и другим быть не намерен, но случаются дни, когда я не в силах смотреть в глаза жене. Мне стыдно. Наверное, вы представляете себе, как она страдает и делит со мной все тяготы нищеты. Но эта добрая душа понимает, что я должен следовать за своей музой, а иными словами, должен жить и умереть во имя поэзии.

— Когда Паттисон впервые появился в Лондоне, — пояснил Джонсон, — с двумя или тремя

талантливыми стихами, то сразу заставил о себе говорить. Он организовал подписку на будущий сборник…

— Но стихи для него так и не были написаны, — перебил его поэт, осушив свою кружку. Он оглянулся в поисках официанта. — Ни тогда, ни теперь. Я работаю медленно. Не припомню, чтобы я создал больше одной-двух хороших строк в месяц.

— Таким количеством поэзии семью не прокормишь, — заметил Казанова.

— Когда он говорит, что пишет медленно, — вмешался Джонсон, — то имеет в виду лишь удачные строки.

— Мистер Джонсон прав. Сатира на некую даму, прижившую ребенка от конюха. Баллада о несчастном узнике, томящемся в Тайберне. В подобном духе я могу строчить целые дни напролет. И еще я решил следить за здоровьем дам с богатыми и любящими мужьями. Отличный план, не правда ли? Если кто-то из них заболеет, я хочу подождать и посмотреть, что случится. Если она выздоровеет, я напишу благодарственный гимн и, возможно, получу за него гинею. Ну, а если, не дай бог, умрет, напишу элегию. Однажды я заработал пять фунтов за стихи о женщине, умершей

родами, хотя, конечно, мне заплатили и за ребенка. Среди поэтов сейчас жестокая конкуренция. И считается плохой приметой, если у вашей двери маячит поэт. Как будто мы птицы-падальщики.

— Со своей стороны могу добавить, — вновь заговорил Джонсон между третьей и четвертой кружками. — От мысли, что я должен сесть за стол и начать водить пером по бумаге, я чувствую себя так, словно наелся гнилых устриц. Половину утра я гляжу на голубей на соседней крыше и разговариваю с мисс Уильямс, а когда наконец принимаюсь за работу и царапаю что-то на бумаге, то как будто опускаю пальцы в кипяток. Потом останавливаюсь, точу перо и читаю какую-нибудь книгу, оставленную на столе прошлым вечером. Обещаю себе написать одну-две фразы или даже одно слово, но сразу обнаруживаю, что чернила слишком густы или, напротив, слишком водянисты. Снова останавливаюсь, наполняю чернильницу или отправляю Фрэнсиса к Дарли. Наконец, как и обещал, пишу слово, а в компанию к нему и другое. А когда гляжу на них сощурясь, то вижу двух верблюдов, бредущих по белой пустыне. Все бы хорошо, но один из них кажется мне настолько хромым, что приходится его перечеркнуть.

— Итак, остается лишь одно слово! — воскликнул Паттисон и потер руки от удовольствия. — А одно слово — это все равно что ничего.

— Так оно и есть, сэр, и потому я окунаю перо в чернильницу, словно в черное сердце дьявола, ниспославшего мне эти муки. Мне хочется набрать пригоршню чернил и расплескать их по бумаге. Моя рука так трясется, что третье слово обычно похоже на что угодно — на кляксу или на раздавленного паука. Я смотрю на него и тру себе шею. Вот почему у моей рубашки, вычищенной всего месяц назад, такой грязный воротник. Я жду, что кто-нибудь постучит ко мне в дверь или во дворе раскричатся дети, а я выбегу и прогоню их. Когда ко мне явятся судебные приставы и арестуют за какой-нибудь старый долг, я скорее обрадуюсь, чем встревожусь. Но пока что никто не приходит.

— И наверное, после этого вы отправляетесь в объятия Морфея, — перебил его поэт.

— Вам это известно, сэр. Я сплю как убитый, моя голова покоится на рукописи, а когда бьют часы, я открываю глаза и вижу, что сделал за утро. Лишь одно слово разборчиво, другое перечеркнуто, а третье я мог бы написать по-узбекски или на языке чероки. Я в шутку пишу еще несколько слов на

том же придуманном языке, а потом не могу продолжать работу без чашки чая с какими-нибудь сладостями из кладовой. И вновь принимаюсь за проклятое дело. День за днем одно и то же, пока издатель, мистер Миллар, не присылает ко мне мальчишку-курьера, которому строго-настрого наказано не уходить без обещанной рукописи.

— И тогда? — спросил Казанова, обескураженный столь банальным и лишенным малейшей героики словесным автопортретом великого лексикографа.

— Тогда, — продолжил Джонсон, — я угощаю мальчишку куском кекса, достаю чистый лист бумаги, без напряжения работаю эдак с час, и рукопись готова. Вот что значит быть писателем, мсье.

В первые часы Рождества они вернулись к стекольной фабрике. От последствий такого количества сладкого горячего пива поэта защищала лишь порция гороха, и он, как уличная девка, повис на руках у Джонсона и Казановы. Паттисон бормотал и пел по-гречески, а его рваные башмаки просили каши, будто игрушечные акулы. Они уложили его на фабричном дворе — Джонсон показал шевалье, где можно выкопать теплую золу. И они засыпали дрожавшего поэта горстями этих

серых перьев, серых лепестков, пока не осталось лишь его лицо, маячившее на поверхности, как выброшенная тарелка.

— До свидания, Паттисон.

— Поздравляю вас с Рождеством, господа. Будьте осторожны на обратном пути и смотрите, куда ступаете. В этой золе обитает несколько молодых гениев.

— Не бойтесь, не растопчем. Еще раз спокойной ночи.

— Да благословит вас Бог, мистер Джонсон. Больше не осмеливаюсь говорить, а не то мой рот наполнит горький пепел.

глава 19

— У него тяжелый случай, — заметил Казанова, когда они шагали по Флит-стрит под моросящим дождем. — Почему бы ему не вернуться домой в такую ночь?

— Нет, мсье, — возразил Джонсон, мужественно переносящий непогоду. — Он уже привык и вполне уютно чувствует себя в этой золе. Поверьте моему опыту, поэты крепче борцов на арене. Нужно много сил, чтобы убить хорошего или даже посредственного поэта.

— Он нисколько не сомневается в себе, и это просто удивительно, — поделился своими наблюдениями шевалье. — Он убежден в своем призвании, хотя никакого успеха не добился. Где тут логика?

— Вы правы, — согласился Джонсон. — Некоторые думают, что ему самое место в доме умалишенных на пару с бедным Китом Смартом.

— Возможно, — отозвался Казанова и с тоской поглядел в незанавешенное окно, где несколько возбужденных детей никак не могли уснуть и уселись родителям на колени. — Но все равно я назвал бы его счастливым человеком.

На Темпл-лейн Джонсон опять решил попотчевать Казанову чаем и разжег камин, уронив поверх поленьев несколько кусков морского угля, извлеченных из мешка толстыми дрожащими пальцами. Фрэнсис Барбер свернулся клубочком и спал на стуле у окна, а кот лингвиста величиной с мешок уличного торговца расположился в лучшем кресле и неотступно следил за Казановой, высунув изо рта кончик розового языка.

Они сняли промокшую до ниток одежду. Шевалье облачился в старый камзол хозяина из грубой шерсти, висевший на нем как на вешалке. Над камином глухо, с перебоем тикали старые часы — точно шорох прилива времени.

— Надеюсь, — сказал Джонсон, — вы осознали тщетность своего наваждения.

— Это вы о Шарпийон?

— Нет, я о ваших более литературных амбициях.

— Вовсе нет, — отозвался Казанова, уловив свое отражение в чайнике. Его лицо расплылось по горячей серебряной поверхности. По правде говоря, после сегодняшнего ему было трудно вообразить себя кем бы то ни было. Огонь, кот, дождь — любое явление, любое существо казалось более реальным и ощутимым, чем он. Наверное,

кот чувствует, как ему неуютно, и наслаждается этим, подумал он.

— Итак, — проговорил Джонсон, и эхо его голоса донеслось из большого комода за дверью. — Я собирался преподнести вам подарок утром, но утро уже, можно сказать, настало.

Он вернулся к столу с маленьким пакетом, небрежно завернутым в типографскую бумагу и перевязанным выцветшей лентой.

— Это мой скромный труд, — пояснил Джонсон. — Повесть о сыне абиссинского императора. Он, его сестра Некайя и его старый философ пустились в разные приключения, пытаясь понять смысл жизни. Им довелось немало пережить.

— И что же они нашли?

— Они ничего не нашли, мсье. Полагаю, что книга придется вам по душе. Я работал над ней вечерами и написал за неделю. У меня умерла мать, и я должен был как-то компенсировать похоронные расходы.

— И этой книгой вы похоронили мать?! — воскликнул шевалье. Он тут же понял, что вопрос прозвучал бестактно, но лингвист, казалось, не заметил этого и лишь кивнул ему.

— Да, книгой.

Казанова почувствовал себя обязанным пода-

рить что-нибудь в ответ. Какой же он неловкий! Почему Жарба не напомнил ему? Но, может быть, у него что-нибудь отыщется? Ну, хоть серебряная пуговица от камзола или… Он извинился и поднялся наверх в спальню Джонсона, где на спинке стула висел его камзол. В последний раз он надевал его… Нет, лучше не думать про последний раз. Он сунул руку в левый карман, пошарил там и достал маленькую закупоренную бутылку. Горько усмехнулся и возвратился в гостиную.

— Это целебный эликсир, — сказал он, пока Джонсон беспомощно вглядывался, пытаясь разобрать надпись на этикетке. — Сильнодействующее средство от любых болей. Знаменитый тоник. Он называется «Бальзам жизни».

Лингвист крепко пожал ему руку.

— Мой дорогой шевалье, — с благодарностью промолвил он. — Вы сразу поняли, что мое здоровье оставляет желать лучшего, и принесли мне это снадобье. Как вы добры. Быть может, с Божьей помощью оно избавит меня от застарелых недугов.

— Разве я не обещал принести его вам еще в первый день знакомства?

— Да, правда, мсье, вы обещали.

Джонсон с удовольствием выпил ложку и угово-

рил Казанову попробовать. Потом оба поднялись наверх. Хозяин дома шел впереди со свечой в кувшине. В спальне они сняли верхнее платье и вместе улеглись в кровать. Джонсон помолился на ночь, извинившись, что будет говорить по-английски, но ему, англиканцу, было бы и неуместно и непатриотично произносить молитвы по-французски. Казанова не молился. Он лежал, слушал шепот лексикографа, стук капель об окно, шум дождя на улице и долгие выдохи. Когда Джонсон в последний раз сказал «аминь» и потушил свечу, они укрылись одеялами и заговорили: сначала вкратце о политике, затем — долго и со вкусом — о женщинах. Джонсон рассказал о своей жене. По его словам, она даже в молодости не блистала красотой, ей пришлось много вынести и делить с ним все тяготы жизни бедного литератора. «А уж каковы они, вы сегодня, мсье, сами видели». Она частенько прикладывалась к бутылке и утешалась романами, но он ни в коей мере не осуждал ее за это.

— Я неуклюжий любовник, мсье, и не из тех мужчин, ради которых женщина может выбежать из дома, чтобы смотреть, как он пройдет по дороге. Мне стыдно думать, каким скверным мужем я оказался. Словно у меня в кармане лежа-

ли крохотные, хрупкие яйца, и я вечно разбивал их по неловкости. Скажите мне, как, по-вашему, надо пробуждать интерес у женщины?

Казанова глубоко вздохнул. Успех у женщин казался ему сейчас вещью совершенно загадочной, плодом чуть ли не невинности. Он бы не сумел его объяснить, потому что никогда, и уж особенно в юности, не размышлял, как бы лучше сделать, а бездумно делал, как будто опуская руку в вазу с персиками. Конечно, он пользовался множеством ухищрений — опием, кокосовыми листьями, камфарными маслами и целебными бульонами. Ему помогала добиться успеха улыбка, и, разумеется, ни о какой победе нельзя было даже мечтать без толики смелости и напора. Он мысленно перечислил свои романы: на парадной площади памяти его завоевания выглядели как боевые отряды в красочных мундирах, но Казанову насмешило их количество. Оно свидетельствовало не об энергии, привлекательности или совершенстве техники, а скорее или отчасти — о слепоте. Не лучше ли вспомнить двух или трех женщин, которых он хорошо знал и по-настоящему любил? Его успех также был его поражением. Лингвист с его памятью о простушке-жене и своей неуклюжей страсти в сравнении

с ним добился большего, и его рассказ мог сильнее затронуть душу.

— Знаете, мсье, — проговорил он, немного подумав и попытавшись отыскать в своих опытах чистое стекло мудрости, — есть такая старая поговорка: «Что хорошо для Фатимы, не годится ее сестре».

— В таком случае, — заметил Джонсон, — нужно точно определить, о ком из них мы сейчас ведем речь. В этом и состоит искусство.

— Вы им владеете, — откликнулся шевалье и ухмыльнулся бессмысленности последней реплики. Они продолжили беседу в полумраке, слова было трудно различить из-за шума дождя. Наконец сладкий бальзам Аугспургеров усыпил их. Что-то пушистое запрыгнуло в изножье кровати и прильнуло к ногам Казановы.

— Это всего-навсего Ходж, — успокоил его человек-тень. — Вы когда-нибудь видели смеющегося кота? Мне однажды попалась собака…

Но шевалье лишь придвинулся поближе к хозяину дома с его отцовским теплом. Сознание Казановы отключилось от лекарства, от усталости, от музыки дождя, и теперь он слышал только собственное похрапывание, откуда-то из дальней дали.

Он проснулся рано, даже слишком рано — в один из тех неурочных часов, когда возбужденный рассудок не находит покоя, стремясь к утешению и твердо зная, что его нет. Ему приснился Соломон Кефалидес, хирург, оперировавший его в Аугсбурге. Он вылечил шевалье от заразной болезни, подхваченной у Ла-Рено. Во сне, возвращавшемся к нему сейчас обрывками воспоминаний, хирург разрезал его кожу, выставив на обозрение органы, точно мякоть незрелого плода или еще не перерезанную пуповину, но в то же время как гнилую, больную плоть. До чего же неуместной бывает симметрия природы! Например, стоны боли и наслаждения слишком часто невозможно отличить друг от друга…

Скрип половиц: тяжелые шаги по комнате. Хозяин дома шел в шерстяных носках. Казанова открыл глаза и выпрямился. Рассветные лучи помогли ему разглядеть, что лексикограф остановился у изножья кровати и стал натягивать на себя камзол — прекрасный камзол шевалье! Он продел руки в рукава — шелк затрещал на его массивных плечах — и пародийно приосанился на манер Казановы. Затем Джонсон посмотрелся в ручное зеркало, подслеповато щурясь в полумраке, снял камзол, снова аккуратно повесил

его на спинку кресла, крадучись вернулся и лег в кровать. Его лицо озаряла улыбка неописуемого счастья. Шевалье торопливо закрыл глаза и уснул. Ему не хотелось об этом думать. Пусть новый день начнется как можно позже.

Часть третья

глава 1

— Дамы, вы готовы?

В разгар Рождественских празднеств у особняка Казановы на Пэлл-Мэлл все утро стоял массивный экипаж с уложенными на крыше баулами и свертками в холщовой упаковке. Дверь была открыта, и вскоре сам шевалье спустился к выходу в дорожном костюме рука об руку с бабушкой Аугспургер. Он подсадил ее в экипаж, а через минуту вывел из дома остальных. Несколько соседей в перчатках и муфтах наблюдали на расстоянии, как женщины поднимались в карету. Последним вышел Жарба, державший в руках коробки для шляп. Миссис Фивер стояла на ступеньках, поеживалась от холода и махала им вслед.

Экипаж со скрипом отъехал в лучах рассеянного утреннего света. В небе над головой тянулись стаи отправляющихся на зимовку птиц. Через некоторое время городские особняки скрылись из вида, и по обе стороны дороги потянулись заброшенные, пустые поля.

Конечно, когда Казанова впервые предложил Шарпийон отправиться в сельскую усадьбу, она лишь посмеялась над ним. Он этого ждал. В

сельскую усадьбу? В январе? Он убеждал ее, настаивал, рисовал скромные, заснеженные пейзажи, расписывал прелести сельской Аркадии вдали от всех городских пороков. Там они перестанут так глупо терзать друг друга и начнут «достойно общаться». Вы же этого хотели? Но девушка говорила с ним резко и неприязненно, и от ее слов шевалье показалось, будто лошадь встала на дыбы и лягнула его в переносицу. Неужели мсье неизвестно, что все мало-мальски приличные люди покидают свои поместья ранней осенью, как только облетают последние листья? Он продолжал ее уверять — в споре нужно дойти до предела, а иначе от него нет никакой пользы, — упрямо твердил, что заранее знает ее доводы, и сам уже думал обо всех сложностях, но пройдет несколько часов, и она удостоверится в мудрости его выбора. Шарпийон ограничилась ехидным вопросом: что, по его мнению, они будут там делать вдвоем? Стрелять уток? Играть до весны в вист? В конце концов она перестала обращать на него внимание и отвернулась, выдернув нитку из старой вышивки. Однако шевалье решил одержать во время их свидания хоть одну маленькую победу. Он достал из кармана счета и показал их девушке. Объяснять ей смысл и цель столь

важных документов не было необходимости. Она хорошо знала, что бумагой можно разрушить дом, наслать ночные кошмары.

Казалось бы, тут-то делу и конец. Аугспургеры не вправе рисковать и дожидаться, пока счета передадут в суд. Однако его постигла неудача, или, вернее, успех его умудрились омрачить, заявив, что если Шарпийон согласится поехать за город, то ее будет сопровождать вся семья. У них даже нашелся стряпчий, преждевременно состарившийся чиновник из Стара-Загоры. Человек весьма ловкий и отсыревший от жадности. Он составил многостраничный документ на толстых листах бумаги с тиснением, и Казанова — а также его кошелек — оказались в полной власти Аугспургеров. В пункте первом и в дюжине с лишним последующих пунктов оговаривалось, что он обязуется платить мадам Аугспургер пятьдесят гиней в месяц авансом, по первым числам. Шевалье запротестовал. Аугспургеры настаивали. Он стал им угрожать. Они без труда разоблачили его блеф. Ему представилось, будто его секут длинными шелковыми лентами. После десятитысячного удара тело начинает жечь адский огонь.

Чем дальше от Лондона, тем хуже дороги. Пассажиры цеплялись за поручни, и багаж громыхал

у них над головами. В какой-то момент, — одному богу известно, где они были, и Казанова думал, что экипаж давно добрался до самой западной точки на карте, — колеса скрылись в глубокой, как могила, впадине, и пассажиры посыпались друг на друга: куча мала камзолов и кринолинов у стенки, едва не ставшей полом. Через полчаса им пришлось спуститься и идти пешком (в карете осталась только бабушка Аугспургер, помахавшая им руками в варежках): лошади не смогли втащить экипаж на холм, более крутой и болотистый, чем предыдущий. Женщинам еще в начале пути не хватало ни добродушия, ни чувства юмора, и когда захромала одна из лошадей, они совсем приуныли. Пришлось простоять два часа на ветру, дожидаясь, когда ее заменят. Лишь шевалье, ветеран бесчисленных путешествий, бывавший в куда худших переделках, сохранял присутствие духа и старался скрасить неудачное начало рассказами об увязших в снегу каретах, о сорвавшихся с гор лошадях, о разбойниках, о сломанных осях, о нападении волков и даже (невыносимо душным летним днем во время его севильской службы) свирепых бойцовых быков. Но женщины не слушали его и смотрели в окна. Их не интересовали рассказы Казановы. Они и

сами могли бы многое рассказать.

Они подъехали к усадьбе далеко за полдень, скатившись по ухабам последнего холма. Потом экипаж втиснулся в узкий проход между заснеженных живых изгородей, с громким чмоканьем старавшихся присосаться к бортам кареты. Путешественники миновали почерневшее от дыма убогое селение, стоявшую рядом церковь, пересекли горбатый мост, разогнали овечье стадо и подкатили к продолговатому двухэтажному зданию в форме буквы «Г» с увитым плющом фасадом и плотно закрытыми окнами. В саду у дороги корова жевала розовый куст, а у ворот под ветвями орешника притаился человек с лошадью.

— *Voire vache*[25], — сказал агент, которому Мартинелли поручил от имени Казановы арендовать усадьбу за десять гиней в месяц, — *et votre jardin*[26].

Он отпер входную дверь ключом величиной с добрую бутылку вина, затем подошел к окнам и, приложив немало сил, открыл ставни и распахнул их. На свету комната не стала выглядеть

---

[25] Примечания: 25
Это ваша корова *(фр.).*

[26] Примечания: 26
И ваш сад *(фр.).*

лучше. Из окаменело волнующегося моря плитняка выступали грубо сколоченные деревенские стулья и длинный выщербленный стол. Скособоченный клавикорд на паучьих ножках улыбался приезжим, обнажая редкие зубы, совсем как постылая любовница, которую отправил на вольный выпас ее прежний содержатель.

Угол комнаты занимал огромный камин. Шевалье вспомнил, что такой же камин или чуть побольше ему приходилось видеть разве что в старинном замке. Вверху на полке стояли две книги. Единственные в доме — да, очевидно, и во всем графстве.

Они неотступно следовали за агентом, то поднимаясь, то спускаясь по узким лестницам. Казанове послышались на ступеньках шаги прежних, беспутных и ненасытных, владельцев усадьбы. Когда они заглядывали в комнаты, потревоженный воздух с перепугу шарахался. Кровати, казалось, были предназначены для карликов и устало покоились на деревянных подставках с бортами, а гардеробы, зеркала и невзрачные комоды напоминали дальних родственников, столпившихся вокруг смертного ложа. На стенах коридоров висели охотничьи трофеи и жанровые картины из сельской жизни:

быки-чемпионы, утиная охота и своры гончих, статично резвящиеся у ног своих равнодушных молодых хозяев. Пока агент открывал окна в каждой комнате, они осматривали безликую сельскую местность и заметили, что две половины буквы «Г» образовывали какое-то подобие двора. Там рос орешник и безмолвно тянулись к небу подсолнухи. Под голыми деревьями пьяно скособочилась кривая скамья. Повсюду в доме пахло мышами, верно, из-за сырости.

Когда все вернулись в холл, агент отдал шевалье ключ, попрощался и уехал, вскачь устремившись через поля. Как выразительна может быть мужская спина! Казанове внезапно захотелось броситься за ним следом, и он с трудом удержался от искушения побежать в башмаках по промерзшей траве и бежать до тех пор, пока усталость, ночной мрак или какой-нибудь природный катаклизм не заставят его замереть. Но он поборол свой порыв. Аугспургеры и их молоденькая служанка собрались в гостиной: бабушка Аугспургер дряхлой кучей сидела в кресле, а тетки и мать устроились с ней рядом, по-прежнему в чепцах и с поджатыми губами, как будто только что хлебнули лакрицы или чего-то не менее горького. Шарпийон, склонившись к столу, сидела рядом с

матерью, ее взгляд был задумчив и словно обращен внутрь. Она чуть слышно щелкала языком и зубами, и Казанова всякий раз в оцепенении застывал, точно это был камертон, резонировавший с особо чуткой частью его мозга.

— Жарба, мы же, кажется, брали с собой бренди?

Он улыбался и чуть ли не ворковал, но его обаяние не действовало и все попытки расшевелить дам были бесполезными.

В конце концов он сам сходил за бренди.

глава 2

Ночью на небе клубились ураганные тучи. Черепица со стуком слетала с крыши, и шевалье не однажды будили тяжелые капли ледяного дождя, бившие прямо в лицо или звучно барабанившие по одеялу. Утром он с изумлением уставился на незнакомые стены. Не Лондон, не Дубровник… Где же он очутился? Казанова сел на кровати. У него защемило сердце. Он спал в одежде, прикрывшись плащом. В комнате царил холод. Шатаясь, он поднялся на ноги. На полу у изголовья постели стоял стакан с каплей бренди на донышке. Шевалье допил его и на мгновение почувствовал себя отвратительно, а еще через миг — гораздо лучше. Он больше не дрожал и приблизился к окну, массируя себе шею. Дождь, конечно, еще шел, но небо как будто разбухло от влажной пелены тумана и серебристого света.

Казанова направился в коридор и прислушался, но не уловил ни звука, ни единого шевеления. С выступов стен за ним следили две рахитичные крысы, завтракавшие кожаной обивкой. Он шепотом поздоровался с ними и спустился по лестнице. Такое ощущение, будто его привезли в

этот дом во сне и он видит его впервые. В холле по-прежнему громоздились нераспакованные баулы, на столе лежала бутылка от бренди, а рядом — одна из серег Шарпийон. Он подержал серьгу в руке, извлек каштановый волосок и двинулся к двери, бесшумно открыв засовы. Сделал несколько шагов и оказался в тени крыльца. Ворона с черными взъерошенными перьями примостилась на верхушке одинокой крушины напротив. Птица покачивалась на ветвях и балансировала, с трудом сохраняя равновесие, потом неуклюже вспорхнула, упала к земле, выровнялась и заложила широкий вираж над болотистой равниной. Узнать бы, куда делась корова — если она вообще смогла пережить ураганный ливень.

Шевалье закрыл дверь и вернулся проверить, горит ли огонь, в который вчера подбросили деревянные обломки от старого стула. Приезжие накинулись на стулья, как дикари, и, разбив их на полу, смогли немного согреться, но теперь зола в камине давно остыла, и шевалье словно смотрел на картину, изображающую камин. Казанова принюхался, опять вздрогнул и по неистребимой привычке запойного читателя снял с полки книги, сдул с них пыль и прочел заглавия. Первая, «Посев кукурузы» сэра Хью Платта, была почти и

не разрезана, а другая, более зачитанная, книга Харриса называлась «Список дам Ковент-Гардена». Издание было таким старым, что едва ли не все перечисленные женщины с их соблазнительными именами и дразнящей сексуальностью теперь либо стали бабушками, либо умерли от французской болезни.

Он сел на стул и откинулся головой к каминной трубе. Затылком он ощутил гладкую неглубокую ложбинку, будто люди откидывались так головами уже триста лет. Шевалье сжал книги в руке и улыбнулся. Интересно, кто держал их последним, проглядывал из чувства долга одну и украдкой мусолил другую? Тяга к женщинам, о которых написал Харрис, всегда была признаком хронической меланхолии. Довольные жизнью мужчины не ходили к подобным женщинам, и сами женщины прекрасно об этом знали. Довольные жизнью мужчины оставались дома, вот почему у сутенеров так бойко шли дела. Он поднялся и вновь поставил книги на полку. Ему хотелось обнять человека, который покупал их, и нежно, по-братски его расцеловать.

глава 3

Аугспургеры обосновались в одном крыле буквы «Г» и зажили столь независимо, что мужчина ощущал бы себя там бесцеремонным интервентом. Вся семья спустилась вниз в середине дня, бабушка Аугспургер шествовала впереди со своими спицами и кивала головой, оглядывая затененные углы комнаты.

Служанка Аугспургеров, Жарба и сам Казанова целый день работали не покладая рук. Они мыли, подметали и чистили дом. Носили ведра с ледяной, желтоватой водой из колодца за усадьбой и воду морского цвета из кадок у входной двери. Смахнули с окон паутину. Притащили высокий деревянный стол из соседней комнаты и расставили на нем хрусталь и фарфор. Начали искать дрова и обнаружили в одной из пристроек вязанку поленьев, годных для растопки. На стенах там, словно узники в темнице, висели инструменты в ветхих кожаных футлярах и ржавые лезвия. На столах зажгли лампы. В гостиной появилась белая, как снег, молодая кошка и разлеглась у камина перед самым огнем, отчего там наконец стало по-домашнему уютно.

Женщины не смогли скрыть своего удовольствия, но пожаловались на неудобства, от которых страдали всю ночь. Сырые кровати, непонятные звуки, впрочем, и понятные тоже. Они были твердо убеждены, что кто-то бросал камни в окна. Ну, а запах в углу их спальни вообще не поддавался описанию. Очевидно, там кого-то похоронили. Какую-то огромную тварь.

— Уж не верблюда ли? — предположил шевалье, почему-то вспомнивший о верблюжьей охоте на солончаках близ Кадикса.

— И где мы найдем парикмахера в такой глуши? — спросила Шарпийон.

— Это большая дохлая крыса, — заявила тетка номер один. — Или собака.

— Моя дорогая мадемуазель Аугспургер, — обратился к девушке Казанова. Он достал серьгу из жилетного кармана и отдал ей. — Нам незачем быть здесь элегантными. Мы можем отрастить волосы, будто троглодиты, или полностью сбрить их, как сумасшедшие.

— Никаких верблюдов в усадьбе, конечно, быть не может, — возразила тетка номер два и поглядела в окно.

— Вы и так настоящий сумасшедший, — пробормотала Шарпийон, приняв серьгу, — а есть у

вас волосы или нет, ничего не значит.

— Не изволите ли присесть? — предложил шевалье. — А я буду вашим официантом и подам вам завтрак.

— Проклятая скотина! — завопила служанка, когда кошка впилась ей когтями в икру.

— Я не выношу крутые яйца, — предупредила Жарбу мадам Аугспургер. — Они могут меня погубить.

Жарба положил яйца в кастрюлю и, повернувшись спиной к женщинам, поставил ее на огонь. Казалось, он обращается к воде и шепчет какие-то заклинания. Кофе уже был готов. Кофейник походил на болонку, севшую на задние лапки. Казанова поставил его на стол, улыбнулся и внезапно ощутил, как в его груди шевельнулась надежда. Может быть, у него наконец появится семья? Может быть, его усилия хоть раз не пропадут даром? И все изменится к лучшему?

Работа по дому продолжалась до вечера. Лицо служанки, чистившей очаг, покрылось полосами сажи. Густые кудри Жарбы припорошила пыль от вычищенной мебели. Шевалье закатал рукава рубашки, вооружился метлой, перевесил картины и прогнал с кухни кур.

Комната рядом с его спальней оказалась совер-

шенно пуста — только на полу валялась покрытая плесенью мужская шляпа. Воняло здесь довольно умеренно, и он решил, что сделает эту комнату своим кабинетом. Как отец семейства и начинающий писатель он нуждается в отдельном кабинете. На худой конец, он сможет скрыться в нем от женщин. Из окон в этой комнате открывался вид на сад, одинокое буковое дерево и дорогу. Дождь прекратился, и когда Казанова посмотрел в окно, то увидел, что Шарпийон прогуливается по тропинке с кошкой на руках.

Он перенес в новый кабинет софу, прочный стол и тумбочку. А затем с помощью Жарбы втащил наверх кресло Гудара. Оно с самого начала привлекло внимание дам, и шевалье забросали бестактными вопросами. Зачем ему понадобилось тащить с собой кресло? Неужели мсье думает, что в сельском доме не бывает кресел? К счастью, никто из старших Аугспургеров не имел дела с мадам Гурдэн на рю-де-Порт, а то не избежать бы неприятных объяснений. Но Казанова еще на Пэлл-Мэлл сообщил им, что оно необходимо ему по целому ряду причин, которые нелегко понять посторонним. Для наглядности

он вытянулся в полный рост. *C'est tout*[27]. Теперь он поставил кресло в угол, поблизости от окна, и попытался вспомнить, что говорил Гудар. Пружины взводятся вот так, этим рычажком. Вот так — «вкл.», вот так — «выкл.». Или наоборот… Он не собирался воспользоваться креслом. Конечно, она зайдет к нему, хотя бы просто от скуки. Ну, а если не явится… Он поглядел на дверь и кивнул. Жарба вынес оставленную кем-то шляпу.

Казанова отправился на поиски Шарпийон, надеясь, что они вместе поиграют с кошкой. Но не нашел девушки в саду. Поднял массивную, крепкую палку, вроде той, что носил с собой Джонсон, и подумал, а не прогуляться ли ему по своим новым владениям, обследовать их, прикинуть на будущее, как улучшить здешнее землепользование. Он полагал, что если кто-нибудь наблюдает за ним сейчас в подзорную трубу или в театральный бинокль из перелеска за домом, то примет его за джентри, за благородного поэта-землепашца, этакого поместного Вергилия. Шевалье подошел к каштану, дотронулся до его мокрой и холодной коры и зашагал к полю, в центре которого ему сперва померещился остов

---

[27] Примечания: 27
И довольно *(фр.)*.

маленькой лодки. Но вскоре он понял, что это плуг. В полмиле от усадьбы у блестящего зеленого озера он обнаружил загон с запертым в него большим черным хряком. Казанова просунул палку и пощекотал его между ушей. Хряк поднял морду с носом-пятачком и захрюкал. Он кротко и в то же время настороженно смотрел на пришедшего, не понимая, что с ним сейчас делают — то ли гладят, то ли небольно колотят.

— И ты тоже когда-то был человеком? — спросил шевалье, ощущая внутреннюю правоту учения о метемпсихозе.

Морской свет утра поблек. Небо покрылось тусклым дымом безразличия. На обратном пути шевалье заметил мелькнувшую у холма мужскую фигуру в длинном развевающемся на ветру плаще. Он вскинул палку — но неизвестный сосед не ответил на приветственный жест. Казанова обрадовался, когда вернулся в усадьбу и осознал, что его нисколько не манит запах почвы. Шевалье предпочел бы хороший грязный канал.

глава 4

Дни падали, словно капли с ветки. Они копились у кончика, недолго трепетали и срывались куда быстрее, чем можно было бы подумать. Казанова и дамы забыли о времени, о буднях и праздниках и очнулись лишь в одно воскресное утро, когда до них донесся звон церковных колоколов. Они жадно прильнули к окнам и не отходили от них, пока не промерзли от морозного воздуха. Солнце светило ярко, туман впервые за несколько недель рассеялся, и поля сияли, точно от разбросанных стеклянных осколков. Потом все полчаса одевались, готовясь к походу в церковь, и болтали о пустяках. Шевалье завязывал галстук сиреневого цвета, гляделся в зеркало, и жужжание женских голосов напоминало ему гулкое пение внутренностей после сытного обеда.

Однако стоило выйти из дома, как от радостного возбуждения не осталось и следа. На обочине было полно скопившейся грязи, и они испачкали свои башмаки. Потом пробирались в экипаже по размокшей дороге и опоздали в церковь. Служба уже давно шла, хотя прихожан собралось немного — на старых скамьях сидело всего с полдюжины

мужчин и женщин. Собаки облизывали в углах мшистые стены или обнюхивали крошащиеся надгробия, рассчитывая отыскать там истлевшие кости былых вельмож.

Священник стоял на шатком амвоне. При появлении нарядно одетых господ он прервал проповедь и отвесил им низкий поклон. Казанова кивнул и вместе с Жарбой и женщинами уселся на скамью, с виду чуть получше прочих. Он открыл затрепанный молитвенник, торопливо перелистал его, поправил манжеты и перебрал мелочь в карманах. Священник обратился к иностранцам с масляной улыбкой. Кто-то попытался запеть. Собаки начали драться. Двое детей с криками и смехом вбежали в церковь и выбежали наружу. Пьяный прихожанин с мучительной медлительностью кренился набок и наконец рухнул со скамьи. Пришедшие бормотали молитвы, вставали и садились, как того требовал ритуал. Одни были погружены в свои раздумья, а другие молились с головой пустой, будто мыльный пузырь. Красота и смысл церковной службы давно исчезли, уступив место скучному спектаклю и часу расслабленного созерцания, от которого лишь болела голова.

Но разве это не образец его собственной жизни,

подумал шевалье, разве она не превратилась в столь же пустые ритуалы? Он боялся, что навсегда утратил способность радоваться. А ведь некогда наслаждался великолепием бытия, лежа на земле под бело-золотистой луной. Смог бы он сейчас протанцевать с самим собой на деревянном полу, без музыки или, вернее, под аккомпанемент лишь той музыки, что поет в его крови? Так он танцевал в залитой светом парижской мансарде на Пляс-Рояль. Этот эпизод запомнился Казанове и до сих пор был ему дорог. Тогда он считал, что ему выпал счастливейший жребий — просыпаться, ложиться спать и, спускаясь по ступенькам, ощущать собственный вес. На минуту он помолился — как бы он стал сводничать кардиналам, не зная ни одной молитвы? — и безмолвно воззвал к Всевышнему, чтобы Тот освободил его от злобной силы, сдавившей человеческое сердце, иссушившей волю и способность удивляться чудесам. Слева от него сидел спокойный, невозмутимый Жарба, и шевалье захотелось его ударить.

Старые могильные камни на церковном дворе почти скрылись под землей, а из-за разросшихся вязов там всегда царил полумрак. Последовала процедура знакомства с прихожанами: вот сэр Некто со своей супругой, вот врач, вот фермер,

вот бывший нотариус, вот две перекошенные старушки-близняшки, а вот и сам священник, имя которого Казанова вскоре успел забыть. Все откликнулись на приглашение и обещали побывать у них в усадьбе. Нотариус или, может быть, врач так энергично пожал шевалье руку, будто с выгодой продал ему больного быка. Мужчины не отрывали взглядов от Шарпийон, хотя глаза у нее опухли, а лицо, обычно нежно-розовое и свежее, побледнело. Она не старалась произвести впечатление и не утруждала себя излишней любезностью. А по пути домой так сильно чихала, что едва не лишилась чувств.

В понедельник они, словно по обоюдному согласию, целый день пролежали в постели. Это оказалось на редкость просто. Казанова проснулся и опять задремал. Иногда он открывал то правый, то левый глаз. Ему снился дождь, а когда он все же поднялся, то увидел мокрые подоконники. Окрестности захлестнул потоком мощный ливень.

Во вторник его разбудили рано, до рассвета. Он почувствовал, что у его изголовья стоит женщина.

Неужели Шарпийон все-таки явилась к нему?

Он приподнялся в полутьме, протянул руку,

дотронулся до нее, но тут же отпрянул.

Это была мадам Аугспургер. Ее дочь нездорова, она мечется в лихорадке, трясется, и ее тошнит. У нее ноют все кости и суставы. И мсье должен за это ответить! Зачем он привез их в такую жуткую дыру? Разве он не знал, что Мари очень слаба и ей не подходит сырой климат? Что у нее такое хрупкое сложение?

Шевалье вспомнил, что сперва ему приснился не дождь, а ночь в Ридотто в Венеции и он играл там в *biribisso*[28] с Анжем Гударом, постоянно проигрывая. Он с трудом выбрался из кровати, надел халат и двинулся по коридору с мадам Аугспургер в дальнюю часть дома. У постели больной слабо горела лампа. Шарпийон лежала на спине в позе умирающей или недавно скончавшейся. Ее тетки сидели по обе стороны кровати, их носы покраснели от холода и горя. Они Держали девушку за руки. Бабушка устроилась в кресле-качалке в углу спальни и смотрела в потолок, словно кто-то оставил вверху послание и она старалась его прочесть. Казанова наклонился над Шарпийон.

Болезнь поглощала красавицу, не оставляя ни одного живого места. Ее волосы сделались

---

[28] Примечания: 28
Лото *(ит.).*

бурыми, как пожухлая трава. Глазки-щелочки, видные сквозь полуопущенные веки, посинели, как испорченный сыр. Он прикоснулся к ней и в испуге отдернул руку. Чем она больна? Внезапно шевалье понял, что не желал бы умереть от лихорадки в этом захолустье, зная, что врачи смогут приостановить ход болезни всего на какой-то час. Или погибнуть от другого непонятного недуга, подтачивающего организм, будто червь. Тетки глядели на него. Глядели злобно и с подозрением. Шарпийон стонала, вернее, что-то стонало в глубинах ее существа. Он нежно, воркующим голосом произнес ее имя. Так окликают друг друга любовники в темную, беззвездную ночь.

Что там говорил Гудар о сомнениях? Что их нужно бояться больше, чем стилета? Чем он сам занимался до Мюнхена, до Лондона, на чем специализировался? Речь, конечно, шла о его настоящих, серьезных делах, а не о соблазнении женщин, в сущности, банальном трюке, совсем как у фокусника, вытаскивающего из рукава цветные носовые платки. Нет. Его успехи зависели от способности убеждать других, что он один может справиться с их проблемами. Король страдает от импотенции? У Казановы готов ответ. Министр нуждается в дополнительных доходах

для казны? Казанова знает, где их нужно искать. Аббат влюбился в жену своего брата? Казанове известно, как следует поступить. Позднее с помощью не одной дюжины чашек кофе, хитрости, удачи он и правда находил такие способы, ну а если это ему не удавалось, прибегал к внушению. Людей очень легко уговорить, когда они сами этого хотят и когда они в полном отчаянии. Если все сложится благополучно, потом вы можете безбедно жить месяц или даже год. А если вас ждет неудача, то оберните мешковиной копыта лошади и бесшумно скройтесь поутру от ваших врагов. Это были не просто двоедушие или игра. Нет, что-то куда более полезное и интересное. Сказать что-либо с полной уверенностью значило сделать добрую часть дела. Он вылечил маленькую Эмили. Почему бы ему не исцелить Шарпийон?

Казанова пригнулся, осторожно отодвинул теток, взял девушку на руки, поднял и понес к двери.

— Я ее вылечу, — проговорил он. — Можете не опасаться. Мне понадобится три дня. Ровно три.

Но лечение заняло пять дней.

глава 5

Он не посылал ни за врачом, ни за аптекарем, зная, какой вред способны причинить эти люди. Шевалье согрел ее постель кастрюлей с горячими углями и укутал Шарпийон толстым одеялом. Жарба принес все необходимое: питательные напитки и кувшины с горячей водой. Казанова достал из своей медицинской сумки десяток флаконов и выставил их на каминную полку. Многие из них выглядели более чем сомнительно: старые, дилетантские снадобья или самодельные яды вроде аугспургеровского «Бальзама жизни». Ему захотелось было попросить их изготовить новую порцию бальзама и проверить его на практике, но они бы заявили, что им требуется толченый рог нарвала, высушенная голова или ногти какого-нибудь святого. Он взял флакон «Капель доктора Норриса от воспаления», открыл пробку, принюхался, а затем выкинул все флаконы в сад.

Несколько дней он спал урывками, на ходу или выжимая компрессы. Он протирал больную, менял ей простыни и постоянно поил с ложечки. Пока он мыл Мари, пока стирал горький пот с ее спины, груди и мягкого округлого живота, то не

был равнодушен к ее чарам. Красивая девушка, кашляющая, как рудокоп, и пахнущая, словно прогнивший фрукт, все равно остается красивой. Жар воспаления подражает горячке любовной страсти. Ее вздохи напоминали томные стоны, которые он наконец вырвал из груди Мари в лабиринте. Ничто не мешало ему воспользоваться желанной свободой и овладеть Шарпийон. Она была в его власти. Разве он не мог лечь с ней рядом, как компресс, как благословение, как призрак в горячечном бреду? От жара воспаленных мыслей у него пересыхало во рту, но руки продолжали работать и творить доброе дело. Она скрежетала зубами и могла бы стереть их в пыль. Чтобы этого не произошло, он просунул ей в рот один из гибких пальцев своих перчаток.

Жар достиг кризисной точки, и полдня ее глаза застилала голубая дымка боли. Он пел ей песни, знакомые с детства, когда сам долго и тяжело болел. Женщины дежурили в коридоре и тоже не спали целыми сутками. Он слышал, как они скреблись, точно мыши, и перешептывались, будто привидения.

На шестой день, когда ему наконец удалось выкроить несколько часов для сна, он открыл глаза и увидел прежнюю Шарпийон с ее привычным

взглядом. Она лежала очень тихо и спокойно, наслаждаясь роскошью выздоровления, хотя ее лицо скрывала почти непроницаемая вуаль, крыло бабочки страдания, а около глаз обозначились морщинки, которые отныне уничтожит лишь смерть. Он присел и наклонился к ней. Она не улыбнулась, но разжала левый кулак, и он неторопливо взял ее за руку. Казанова не мог говорить. Для этого он был и слишком опечален, и слишком обрадован. Пройдут минута, полминуты, он упустит момент, и вновь вернутся неутоленная страсть, безнадежность, бесконечные интриги. Что бы он сумел спасти? Что бы оставил на будущее? И он, и девушка в постели, наверное, опять погрузятся в житейскую пыль, каждый со своими мелкими чувствами и глупостью, начнут болтать и загонять друг друга в ловушки на краю могилы, спорить, противиться и обременять себя грузом ссор. Однако сейчас это не имело никакого значения. В тот краткий миг он был богат как никогда.

— У вас неважный вид, мсье, — заметила она.

Казанова кивнул. Недомогание скапливалось часами, если не неделями. Судороги, колики в животе, приступы тошноты. Странное восприятие лунного света и дикий, затравленный взор.

— Я себя прекрасно чувствую, — отозвался он.

Шарпийон медленно вылезла из постели, а Казанова занял ее место.

...

— Итак, синьор, Шарпийон сделалась вашей сиделкой, а вы ее пациентом.

— Да, вы правы, синьора.

— Она была хорошей сиделкой?

— Она вылечила меня от лихорадки.

— За три дня?

Он пожал плечами:

— Три дня, четыре дня... Какая разница, да и кто это помнит? Который час, синьора? Мне кажется, что уже стемнело. Не зажечь ли нам вторую свечу?

— Этой свечи, — произнесла его гостья голосом, похожим на вечер, на шуршанье песка в песочных часах, — хватит еще на час.

Шевалье принюхался. Финетт застонала во сне, но после снова успокоилась. Как они назвали эту кошечку в усадьбе? Он вспомнил, как та лежала у него под боком, когда он поправлялся от лихорадки, и покусывала кончики его пальцев. *Neigeux? Flocon de neige? Boule de neige?*[29] Моросящий дождь за окном сменился обильным снегопадом.

---

[29] Примечания: 29
Снежинка? Снежные хлопья? Снежок? *(фр.)*

Невообразимая, но прекрасная погода. По ночам он слышал вой лисиц. Лондон находился за тысячу миль, а Серениссима — просто на другой планете.

— Когда вы оба выздоровели и у вас прибавилось сил, синьор, то, несомненно, вам удалось сблизиться и стать друзьями. Общение доставляло вам удовольствие? И вы, и она стали романтичнее?

Он чуть не повысил на нее голос, и ему захотелось крикнуть: «Уж вы-то, конечно, знаете! Вы все знаете!» Но он боялся задохнуться и должен был следить за собой. Шевалье ощупал лицо, сосредоточился и спокойно проговорил, хотя его голос прозвучал как у человека, проигравшегося за ночь в карты или неудачно игравшего в них всю жизнь:

— Какое-то время мне так казалось, синьора, но, по правде признаться, все пошло по-прежнему. Своим обычным чередом.

глава 6

— Уж лучше быть несчастной, чем томиться от скуки, — заявила Шарпийон, когда они все уселись за стол. Ставни были закрыты, а в камине пылал и потрескивал огонь.

Казанова удивленно поднял брови. Ему было столь же скучно, как и ей, а притворяться становилось все труднее. Однако сам бы он признал это последним.

— Вы хотите устроить званый вечер? — осведомился он. — С картами? Пригласить соседей? Одеться понаряднее?

— Мсье, — откликнулась мадам Аугспургер. В усадьбе ее раздражение постоянно нарастало, словно распирало ее изнутри, вырвавшись из-под городского пресса. — Мы скоро сойдем с ума. Здесь не на что смотреть, кроме холмов.

Шевалье повернулся в кресле. Жарба сидел у трубы и читал. Казанова обратил внимание, что его слуга иногда надевает небольшие складные очки.

— Много ли вина мы привезли из Лондона, Жарба?

— Шесть дюжин бутылок, мсье, — не отрываясь от книги, ответил Жарба. — Шампанское, кларет, мадера, токай. Кое-что разбилось по дороге.

— Шесть дюжин. Что же, мы можем немного развлечься.

— Нужна еще и еда, — проговорила тетка номер один, выдернув нитку. Женщины весь вечер ткали гобелен. — Мы не можем морить людей голодом даже в поместье.

— Жарба?

Слуга недоуменно пожал плечами:

— Тут есть хряк, мсье.

— А…

— Или корова, — припомнила тетка номер два.

— Пусть бросают жребий, — подытожил Казанова. Если не считать одного-двух человек, он сам за всю жизнь не убил ничего крупнее тараканов.

В десять вечера женщины поднялись из-за стола. Оставаться дольше не имело смысла. Они бы все равно не услышали ничего более волнующего, чем уханье филина. Семейство Аугспургеров строем направилось к себе, как отряд, покидающий поле битвы. Жарба закрыл книгу и тайком, как показалось шевалье, сунул ее себе в карман, пожелав хозяину спокойной ночи. Молоденькая служанка уже легла спать. Казанова остался

один, задумчивый и не отдохнувший за вечер. Он мечтал о мощеных мостовых и лондонском дыме, о надушенной толпе в зале оперы, о переплетении переулков, ведущих бог весть куда! Одна его фантазия стремительно уступала место другой. Банки! Газеты! Даже тюрьмы стали вызывать у него ностальгию. Зачем человеку с его способностями торчать в этой усадьбе? Какой в этом смысл? А в захолустье можно только прятаться или пересекать пустынные поля с заряженным ружьем по пути из одного города в другой. Недаром он не написал ни строчки, лишь два письма Джонсону, полные лжи и нелепых претензий.

Шевалье зевнул. Кошка повернулась животом к огню. Он уже собирался выйти из комнаты и даже потушил лампы, оставив зажженной одну маленькую свечу, чтобы подняться с ней по лестнице, когда ему бросились в глаза искры нитей гобелена на краю стола. Обычно, кончая ткать, женщины свертывали его и забирали с собой.

Однако сегодня вечером они оставили работу в гостиной в окружении ниток с иголками, разноцветных шпулек, заколок, ножниц и наперстков. Он передвинул свечу по столу и наклонился над искрящимся гобеленом, словно глядя на свое отражение в крохотном озере. Основные фигуры

в центре гобелена уже были вытканы. Девушка с копной рыжих волос восседала на спине белого быка, а рядом пенились сине-серебристые океанские волны. На втором плане вырисовывались нечетко намеченные фигуры. Он сразу понял, какова тема гобелена. Красавица на спине быка — это Европа, дочь Агенора и Аргиопы, сестра Феникса. А быком, конечно, был Юпитер, решивший похитить невинную девушку. И когда он появился перед ней на берегу моря в Тире с тяжелыми брыльями и в молочно-белой шкуре, то показался столь добродушным и ласковым, что Европа не испугалась и почувствовала себя на его спине в полной безопасности.

Почему они выбрали этот сюжет, задумался шевалье, восхитившись мастерством Аугспургеров. Ведь это рассказ о беззаконии, об обмане, о боге, скрывшемся под маской быка, подобно острому ножу в кожаных ножнах. Но, присмотревшись попристальнее, он с удивлением обнаружил в гобелене нечто странное и чуждое древнему мифу. Казанова поднес свечу к ткани, постаравшись не закапать ее воском, и куски гобелена как будто ожили. Бык, который должен был казаться смирным и в то же время царственно-величавым, растерянно уставился на коварные, высокие

волны. А хрупкая девушка крепко вцепилась кулаками в его драгоценные рога и толкала быка вперед. Даже наблюдавшие за ними с берега застыли в напряженном ожидании и, похоже, знали, что вот-вот случится. Они схватились за бока и еле удерживались от хохота…

— Отлично, — пробормотал шевалье, поднимаясь по лестнице. Его тень, озаренная пламенем свечи, зловеще дрожала и кренилась набок. — Но они еще не выткали гобелен. Работа пока что не закопчена.

глава 7

Жарба написал приглашения и отправился по снегу в старых морских башмаках вручать их соседям. Казанова уединился во флигеле и принялся мастерить стол для игры в фаро, забивая гвозди по кругу, на расстоянии ширины ладони от края. Потом сварил клей из муки и воды и наклеил в середине стола два ряда карт пик — от туза до шестерки в первом ряду, семерка на углу и от восьмерки до короля во втором ряду, так что король оказывался напротив туза. Он также сделал маленькую коробку для банкомета. Нехитрые занятия доставили ему удовольствие. Шевалье нравилось, что можно на время забыть о себе, заколачивая гвозди, и он стал негромко насвистывать сквозь зубы. А когда отрывался и озирался по сторонам, то с удивлением и радостью обнаруживал, что мир не изменился и в нем по-прежнему все в порядке.

Позднее — Казанове хотелось, чтобы это произошло в самый последний момент, — он застрелил хряка из дуэльного пистолета с пятнадцати шагов. Хряк отлетел назад и повалился на спину с застрявшей в мозгу пулей. Они связали его задние

ноги веревкой, подвесили на орешнике и перерезали ему глотку. Потоки крови стекли в ведро. Женщины стояли, держа наготове ножи. Им не раз приходилось резать свиней во Франш-Комте. Несмотря на мороз, они закатали рукава до плеч. Их лица показались шевалье очень бледными и прекрасными. Служанка горбилась над ведром, взбалтывая кровь, чтобы не загустела. Казанова больше не мог на них смотреть и удалился к себе в кабинет. Там он вычистил пистолет, а когда выглянул из окна, увидел под орешником алое клубящееся облако.

В следующую субботу, 23 января 1764 года от Рождества Христова, местные джентри, их жены и домочадцы собрались у ворот усадьбы Казановы. В саду горели факелы, а из снега торчали ряды бутылок с шампанским, точно дымящиеся от холода темно-зеленые колокола. Шевалье встречал гостей у входа, помогая им стряхнуть снег со шляп и плащей. Иные из них, в особенности врач, успели перед отъездом основательно напиться. Они разглядывали Казанову с его скромным запасом английских фраз и смелым взором не только без почтения, но и с нескрываемым подозрением. Приехавшие с чисто английской неловкостью столпились в дверях и, похоже, были готовы

поскорее вернуться назад, словно куры, столкнувшиеся с лисой.

Шарпийон и ее мать не растерялись и взяли всю ответственность на себя. Теперь они, а не шевалье держались как хозяева дома. Жарба наполнял бокалы, а служанка что-то бормотала и орудовала острым и огромным ножом, похожим на молодой месяц. Она нарезала из туши хряка куски свинины. В гостиной сделалось шумно. Фермер запел, священник сплясал джигу с теткой номер один, а остальные уселись за стол, жадно уплетая свинину, и вскоре хряк уменьшился до размеров кролика. В одиннадцать вечера Казанова подмигнул Жарбе, и они вдвоем двинулись к столику для фаро. Жарба как крупье встал по другую сторону от шевалье, конечно, вызвавшегося метать банк. Шарпийон захлопала в ладоши и предложила гостям поиграть. Этим вечером она была обольстительно хороша. На ее шее светились молочно-белые жемчуга — подарок Казановы, — а волосы украшала диадема с бриллиантами, сверкавшими, как звезды. Он перетасовал карты и вспомнил Китти Фишер — молодую, блестящую елку, подкошенную молнией на лестнице миссис Уэллс. Если бы Шарпийон надела такое платье! Подумать только,

что могло бы произойти! Все эти гости — врачи, священники и джентри — ошалели бы от восторга и, сбросив рога, кинулись в лес с безумными криками. Шевалье понял, что гордится девушкой и влюблен в нее без памяти.

Сначала они играли на шиллинги, но когда их лица раскраснелись от волнения, мелкие деньги сменились гинеями и в ход пошли банкноты. Казанова, безмолвно действуя в унисон с Жарбой, следил, чтобы никто всерьез не проигрался. Гостиная прогрелась, и в ней стало душно. Женщины обмахивались веерами и вытирали лица надушенными платками. Мужчины расстегнули камзолы и жилеты, некоторые сняли парики, положив их в карманы, и косицы свешивались оттуда, как тощие кошачьи хвосты.

Баронет, с которым они познакомились в церковном дворе, — энергичный пожилой джентльмен, с ушами, заросшими седыми волосами, выиграл сто сорок гиней при ставке один к семи. Шарпийон стояла рядом, положив старику руку на плечо. Как хорошо знал шевалье тяжесть этой маленькой руки! Шарпийон что-то прошептала баронету, его глаза загорелись, он кивнул и поставил свои огромные банкноты на выбранную карту — даму пик. Очевидно, он не

на шутку увлекся игрой и молодой хозяйкой. Победа при ставке один к пятнадцати должна была бы принести ему триста гиней! Если он выиграет в следующем заходе, его годовое состояние возрастет примерно на треть! Вполне достаточно, чтобы купить на неделю или на две любовницу себе по вкусу! Казанова метнул карту, лежавшую вверху колоды. В этот момент до него дошло, что, несмотря на выпитое вино и шум в комнате, Шарпийон трезво и холодно следила за игрой и помнила количество разыгранных карт. Она вполне могла бы наказать банк и унизить шевалье перед гостями, но выбранной картой оказалась дама червей.

— Банк выигрывает, — произнес Жарба.

Баронет заморгал и уставился на стол. Голоса в гостиной стихли. Священник кашлянул, словно собираясь прочесть проповедь, а Шарпийон отодвинулась от старика на несколько дюймов. Казанова засмеялся.

— Жарба, пожалуйста, верни нашему соседу ставку, — попросил он. — Мы играем просто для удовольствия. И не более того.

Жарба бросил пачку банкнот, заскользившую по столу. Баронет принялся возражать, кончики его ушей побагровели от смущения, но в конце

концов был вынужден согласиться. Всех предупредили заранее, и никто не мог пожаловаться на грабеж. Им наглядно продемонстрировали суровые правила игры, требующей крепких нервов. Они начали снова метать банк, и каждому захотелось испытать, способен ли он на экстравагантный поступок. Казанова мельком заглянул в глаза Шарпийон. В них улавливались не только взаимные поздравления, но и растерянность, сожаление, подавленность. Затем оба опять посмотрели на карты и сосредоточились.

На часах шевалье пробило четыре ночи. Последние игроки поднялись из-за стола и начали прощаться, не выпуская выигрыш из рук. Некоторые не могли скрыть недоумения. Жарба и Казанова остались вдвоем, сели и допили бутылку шампанского, спрятанную от гостей. Слуга получил свою ставку крупье, а шевалье забрал все остальное — золото, бумажные купюры, расписки от руки и, не считая, сунул их к себе в карман. Когда он встал, то по тяжести денег почувствовал, сколько сумел сегодня выиграть. Неплохой улов для такого захолустья.

Он пожелал Жарбе спокойной ночи, поцеловал его и, поднимаясь по лестнице, тихонько запел:

Sonno usar con gli amanti arte e driturra
prodighe e quelli dan tutto il cuor loro
e si tirano a se l'argento e i'oro…

На мгновение Казанова посмотрел на женское крыло дома и с изумлением подумал, а не украсть ли ему Шарпийон из-под носа у теток, матери и бабушки, но идея показалась ему сумасбродной. Он вошел к себе в кабинет, поставил на стол свечу, взял перо и вгляделся в свое смутное отражение в окне. Оглушенный игрой и выпитым вином разум свернулся в бесчувственный клубок, будто собака в тяжелом сне. Несколько минут шевалье никак не удавалось очнуться, но вдруг у него возникло странное ощущение — в комнате кто-то есть и следит за ним. Может быть, кто-нибудь из игроков прокрался наверх и решил его дождаться? Кто-нибудь из людей баронета явился за деньгами, которые не вернули во второй раз, и спрятался в дальнем углу кабинета, сжав в кулаке орудие мести? Он медленно, очень медленно протянул руку к подсвечнику. Такое с ним уже случалось: где же это было, не в Одессе ли? Тогда он швырнул в лицо нападавшему зажженную свечу, тот отшатнулся, а Казанова за эти несколько секунд нашарил клинок. Зло-

дей скрылся, оставив за собой шлейф кровавых брызг, и они привели к двери его хозяина. Днем о происшествии знал уже целый город.

Ни звука? Нет, человек не способен так долго молчать.

Он схватил со стола свечу, потом стремительно повернулся, прочертив в воздухе огненную полосу.

— Выходи, — прошипел он. — Выходи, ты, пожиратель каштанов! Выходи, я заткну тебе рот и сошью губы!

От угроз любой может осмелеть! Шевалье сделал шаг вперед. Кто-то сидел в кресле, на дьявольском троне Гудара с его механическими капканами! Он сунул руку в карман, раскопал среди золотых и серебряных монет складной нож, но не успел его открыть.

Нож выпал из руки и полетел на пол.

— *Porca miseria!*[30]

Он перекрестился.

— *O porco dio!*[31]

Бабушка Аугспургер сидела в кресле в ночной рубашке, а ее руки и ноги были закованы в кан-

---

[30] Примечания: 30
Какое горе! *(ит.)*

[31] Примечания: 31
О господи! *(ит.)*

далы. Седые волосы встопорщились дымными кольцами, и она не отрывала от Казановы мертвых глаз.

Он долго, как ему представилось, очень долго смотрел на нее в упор столь же мертвым, стеклянным взором. И ясно видел, как едет в повозке палача рядом с собственным гробом, а Аугспургеры стоят у виселицы и шипят на него, пока он взбирается на помост. Может быть, они уже хватились ее и отправились на поиски? Нет? И скоро ли кто-то из них проснется и заметит пустую кровать?

Он опустился на колени и сказал себе, что судьба загоняла его в куда более темные и тесные углы. Прежде всего нужно освободить ее от жутких оков. Боже мой, почему он не разбил голову Гудара этим креслом, когда впервые увидел его? И пусть кто-нибудь во имя республики Венеции ответит, что делала в его кабинете старая дама. Что взбрело ей в голову, какие безумные фантазии могли ее вдохновить?

Он обошел кресло и дотянулся руками до спинки. Наконец его пальцы нащупали маленькую кнопку между задними ножками. Он нажал на нее, но ничего не сдвинулось с места. С силой дернул кнопку, опять нажал и ударил по ней

кулаком. Наручники внезапно влетели в свои пазы, сиденье подалось вперед, и труп бабушки Аугспургер рухнул ему в объятия. Еле удержавшись от крика, шевалье уложил старую даму на пол. В комнате было жарко, как в печи, хотя камин не горел. Он подумал, что должен закрыть ей глаза, но не смог заставить себя прикоснуться к хрупкой, морщинистой коже. Несомненно, она была мертва, но что, если вдруг оживет и укусит его своими острыми беззубыми деснами?

Казанова снял башмаки и бесшумно спустился по лестнице. Жарба убирал остатки вечернего пиршества, выкидывая пустые бутылки прямо в снег. Должно быть, он пьян, решил шевалье, или всегда убирает так, а я просто не обращал внимания.

— Тс-с-с! Жарба!

Слуга повернулся, посмотрел, кивнул и выбросил за дверь еще одного «мертвяка». Казанова напряженно прислушался, однако бутылка упала в снег, как монета на дно столь глубокого колодца, что всплеск доносится только во сне.

глава 8

Ее нашли наутро в саду, почти погребенную под свежевыпавшим снегом. Рядом косо клонилась пустая винная бутылка, словно могильный камень. Бабушку отыскала Шарпийон. А шевалье и Жарба в это время тщательно прочесывали дальние окрестности. Вскоре рядом с покойницей собрались все женщины. Магия горя подействовала даже на девочку-служанку, и она в оцепенении уставилась на свою умершую госпожу. Женщины рыдали. В этом плаче было что-то неудержимое и пугающее. Казанова вернулся и наблюдал за ними из окна холла. Он ощутил, что у него зудит кожа, как от герпеса. А кошка в испуге спряталась от людей и забилась в какой-то тайник.

— Вам нужно выйти к ним, мсье, — посоветовал Жарба.

— Я спущусь через несколько минут, — откликнулся шевалье. — Не беспокойся.

В Серениссиме люди умирали легко и даже весело, сбрасывая с себя жизнь, как шелковый чулок. Они знали, что их уход не должен мешать остальным делать свои дела и назначать бесконечные встречи и свидания. Конечно, каждый

видел красные лодки, плывшие в сторону кладбища Сан-Микеле, но старался не портить себе настроение.

— Жарба…

— Да, мсье?

— Как по-твоему, смерть — это мужчина или женщина?

— Моя смерть или ваша, мсье?

Они внесли бабушку Аугспургер в дом, завернув ее в одеяло, и уложили на стол для фаро, окоченелую, как полено.

— Как она могла там очутиться? — спросила Шарпийон. Ее глаза распухли от слез.

— Возможно, моя дорогая, Жарба выбросил ее вместе с бутылками, — отозвался Казанова. Он не спал всю ночь. У него начиналась истерика.

Как ни странно, все женщины захватили с собой черные платья. Даже служанка переоделась в траурный наряд, словно была готова к похоронам. Жарба и Казанова завязали на рукавах черные ленты, срезав часть подкладки одного из плащей шевалье. В ногах умершей горела свеча. По столу для фаро разлилась лужа сальной воды и капала на пол. Никто не притронулся к еде. Никто не проронил ни слова. Когда поздно вечером

заплаканные и громко сморкавшиеся женщины отправились спать, держа друг друга за руки, Жарба взглянул в глаза хозяину и сказал:

— Мсье, ее нельзя здесь оставлять.

Казанова пожал плечами и ответил:

— А куда она может уйти?

Они обогнули дом, вылили воду из дождевой бочки, плотно укутали старую даму в одеяло и засунули в бочку, присыпав и утрамбовав снегом, точно это не труп, а кусок шербета или сицилийские фиги. Запечатали крышку свечным воском и отнесли бочку в дальний угол сада, где лежали сучья для костра. На ее боку шевалье камнем своего кольца процарапал надпись:

VIVAT PERPETUA[32]

— Так мы говорим в Венеции, — прошептал он, поглаживая дерево.

Прошло три дня, пока дороги очистились от снега и грязи и они смогли нанять желтый, сверкающий экипаж, подъехавший к усадьбе с постоялого двора. На обоих бортах его красовались названия дюжины английских торговых

---

[32] Примечания: 32
Вечная жизнь *(лат.)*.

городов и фигура с крылатыми ногами — Гермес, указывавший путь к дальнейшей цели. Бочка не проходила в дверь экипажа, и ее устроили в корзине на запятках, придавив остальным багажом. Осмотревшись и снова заплакав, женщины уселись в карету. Шарпийон настояла, чтобы Жарба отправился вместе с ними. «Он — единственный разумный человек», — пояснила она.

Сразу после смерти бабушки дамы начали глядеть на Казанову с нескрываемой враждебностью, мысленно обвиняя его во всех грехах, и он решил не возражать. Шевалье стоял под буком и махал им вслед. На его глазах экипаж с драгоценным грузом закачался, будто пьяный, между заснеженными изгородями. Они скрылись из вида, но потом Казанова снова заметил их в миле от усадьбы ползущими по холму на другой стороне селения. Карета поднялась на холм, немного помедлила, пока кучер проверял тормоза, и опять исчезла из поля зрения, хотя шевалье по-прежнему не отрывал глаз от узкой прорези дневного света, где они только что стояли.

Он вздохнул и вернулся домой. Тяжело ступая, поднялся по лестнице и улегся на кровать Шарпийон. Ее запах еще не выветрился. Духи были недорогими, но, поглощенный своим оди-

ночеством, он вдыхал их, как эфир жизни. Потом Казанова принялся пересчитывать курсы разных валют — франки к гульденам, гульдены к кронам, кроны к драхмам и драхмы к шиллингам, надеясь поскорее уснуть. Но это ему не удавалось. Он передвинул голову на подушке и почувствовал, как что-то уперлось ему в затылок. Протянул руку и вытащил книгу — роман, который видел в Лондоне, сидя в ее комнате на Денмарк-стрит. Начал его читать — какая-то французская дребедень, однако история, изложенная скверным языком, со своими нелепыми идеями, отчего-то очаровала шевалье. Он листал страницы и был благодарен судьбе, что нашел такой прекрасный способ отвлечься. Когда Казанова дочитал до конца пятую главу, где молодой герой только что обнаружил другого поклонника своей возлюбленной, прятавшегося в шкафу, на лицо ему упала заложенная между страницами красная роза. Она увяла, засохла и походила на свою бледную тень. У розы не было шипов, лишь крохотные темные раны, и шевалье вспомнил, как он срезал эти шипы и подарил цветок девушке при их первой — нет, второй, встрече. Казанова прикоснулся губами к лепесткам, встал с кровати, сбежал вниз по лестнице, распахнул дверь и помчался по саду,

расплескав по дороге брызги грязи.

— Мари! — закричал он, и эхо его голоса разнеслось по равнине. — Мари! Мари!

«Мой дорогой Джонсон, — признался он в письме, сидя ночью в своем кабинете и мучаясь от бессонницы и усталости. — Возможно, сначала я напишу одну короткую повесть. Историю или быль о человеке, живущем в глухом селении. Он пытается придать своей жизни смысл, делает все, что в его силах, но у него ничего не получается. Одна его катастрофа сменяется другой, словно у слепого на пожаре…»

Он поднес свечу к окну. Неужели он думает, что в ответ вспыхнет пламя другой свечи и откуда-то в этом синем, сочащемся влагой мире на него посмотрят другие глаза?.. Кто знает… Шевалье приблизился к оконному стеклу.

Часть четвертая

глава 1

Шевалье де Сейнгальт пробирался сквозь толпу на рынке. Его плащ по колено из набивного китайского шелка был расшит драконами и сверкал под лондонским моросящим дождем. Что-то в этом рынке с его переходами, внутренними двориками, пролетами старых каменных лестниц, выкриками носильщиков, мальчишками, пробегавшими с длинными сетями, и, конечно, в самих птицах — их щебете, карканье, пронзительном свисте и пении — напоминало ему Фес. Некогда он грелся там на простынях с девушкой и ее братом-близнецом. По комнате над лавкой ее отца летали стаи мух, а из-за резных ставен с арабесками света, ложившимися на белые, чистые стены, доносились звуки сука.

— Мы должны отыскать смышленую птицу, — сказал он, повернувшись к Жарбе и очнувшись от грустных, но приятных дневных грез. — Способную запомнить несколько ласковых слов, которым я ее научу.

Среди торговцев преобладали старые моряки — одноглазые или с крюками вместо рук, с татуированными лицами, продетыми в нос костями

или подпиленными зубами. Они расхаживали босиком и держали клетки с птицами — майна и какаду, канарейками и щеглами. На цепи прогуливалась пара пеликанов, а в углу внутреннего дворика за спиной у своего жевавшего табак одноногого хозяина дрожал фламинго и тоже балансировал на одной ноге.

Через час они приобрели молодого попугая, красивую птицу с плюмажем серых и красных перьев. Казанова остановил на нем свой выбор, уловив в глазах попугая тоску по дому. Возможно, тот вспоминал Мадагаскар или полеты над водами Лимпопо. Они привезли птицу на Пэлл-Мэлл и усадили в клетку, стоявшую на обеденном столе. Миссис Фивер ворковала с ним, стоя у разукрашенных стоек, кормила его крошками трюфелей и остатками поленты, а птица в это время покрывала пол клетки струями жидкого помета и вертела из стороны в сторону своей шустрой головой, нервничая от перемены обстановки.

Когда шевалье лениво бродил по маленькой библиотеке и размышлял, каким стихам, каким рифмованным строкам следует научить попугая, чтобы он их навсегда запомнил, к нему явился лорд Пемброк. Птица восхитила молодого лорда. Он согласился, что подарок позабавит и Шар-

пийон.

— Итак, Сейнгальт, вам не удалось овладеть ею в усадьбе?

— Поместья, милорд, лучше оставить живописцам.

— Должен предупредить вас, Сейнгальт. Над вами многие смеются. Несколько джентльменов держат пари на солидную сумму. А один, не стану его вам называть, даже предложил тысячу гиней. Он уверен, что Шарпийон так и не пустит вас в свою постель.

— Этот джентльмен уже лишился своих денег. Я был в постели у Шарпийон, могу привести свидетелей, и они это докажут.

— Нет, мой дорогой шевалье. Игра идет по точным правилам. Очень точным. Вы должны были проникнуть не только в постель девушки, но и в ее…

— А вот здесь, милорд, можно судить по-разному. Что, если я солгу?

— А вы солжете?

— Конечно, нет. Но что, если мне все удастся, а солжет она? Трудно ожидать, чтобы женщина стала во всеуслышанье разглашать собственную покладистость.

Лорд Пемброк прошелся перед камином,

посмотрел в зеркало, нежно погладил чисто выбритую щеку — чересчур нежно, на взгляд Казановы, — и сухо усмехнулся.

— Вы действительно полагаете, что весь мир не узнает об этом, Сейнгальт, как только вы вновь натянете бриджи?

— По-вашему, я должен заниматься с ней любовью на людях, видя сотни взирающих на нас глаз?

— Тайные свидания — это роскошь бедняков, — заметил лорд Пемброк.

— Почему, милорд?

— Да потому, что миру безразлично, что они делают, если только не бунтуют — чаще, чем раз-другой в год.

Казанова постучал по стенкам клетки:

— Могу я поинтересоваться, на кого из нас поставил ваша светлость? Вы, как известно, не прочь рискнуть своим немалым состоянием.

— Вы правы, я не смог противостоять искушению. Однако я не вправе удовлетворить ваше любопытство, это было бы нечестно по отношению к нам обоим.

— В таком случае, должен предположить, что вы сделали ставку не на меня. Но согласитесь, сколь несправедливо, что я, такие деньги потра-

тивший на преследование Шарпийон, ничего не выиграю, даже если сумею ее победить. А в победе я не сомневаюсь. Нет, ваша светлость, я предлагаю еще одно пари. Чисто, э-э… личного свойства. Жарба сейчас составит документ. Или вы предпочитаете скрепить уговор рукопожатием? Мне известно, что в Англии так принято.

— Оба способа хороши, и мы ими воспользуемся, — ответил лорд Пемброк. — Тогда мы просто не сможем что-либо перепутать.

Жарба сел за стол, шевалье принялся диктовать. Кончив писать, слуга передал бумагу Казанове. Тот быстро прочел ее и вручил расписку лорду Пемброку.

— Вас это удовлетворяет, милорд? Если в течение суток я не смогу насладиться всеми прелестями Шарпийон, то заплачу вам пятьсот гиней. А если мне удастся…

— То вы сохраните ваши деньги и получите пятьсот моих гиней.

— Не затруднит ли вашу светлость расписаться под этим документом?

— Несомненно…

— А теперь мы можем ударить по рукам.

— Сутки, — произнес лорд Пемброк, сверившись с часами. — Я непременно к вам зайду. Как

же вы верите в вашего попугая, дорогой Сейнгальт!

глава 2

Было семь часов вечера. Нити серебристого дождя, словно украшения, сверкали во мраке. Казанова укутал подбородок меховым воротником и сел в наемный экипаж, держа в руках клетку. Он направился на Денмарк-стрит. Попугай изящно раскачивался на жердочке.

— *Je t'adore, je t'adore, je t'adore*[33], — шепотом твердил шевалье. У него не было времени научить птицу более сложной фразе. — *Je t'adore, je t'adore.*

Жарба с присущим ему здравомыслием посоветовал шевалье заранее сообщить Аугспургерам о его визите, но он не стал этого делать. Они даже не знали, что он уже вернулся в город. Естественно, они все еще носили траур — старую даму похоронили лишь неделю назад. Но что может быть скучнее, чем ходить в черных платьях, разговаривать вполголоса и пытаться превзойти друг друга тяжестью вздохов? Все покойники — страшные тираны, а появление Казановы с неожиданным подарком станет для Шарпийон

---

[33] Примечания: 33
Я обожаю тебя, я обожаю тебя, я обожаю тебя *(фр.).*

таким приятным сюрпризом.

— *Je t'adore, je t'adore…*

Карета свернула на Сохо-сквер. Он поглядел на темные окна дома Корнелюс. Интересно, засадили ее уже кредиторы или нет? Дождь бил в окна, и создавалось впечатление, будто весь мир скрылся под водой.

Он ощутил острую ностальгию, но не сумел определить, по чему именно — то ли по супу *pidocchi,* то ли по Дзанетте, то ли по 1750 году. Бог его знает! Да, сейчас бы совсем не помешал яркий солнечный свет.

— *Je t'adore, je t'adore…*

Они проехали площадь и двинулись вправо, а потом влево по узкому рукаву Денмарк-стрит. Казанова постучал тростью по крыше, велев кучеру остановиться. Как тихо в Лондоне этим вечером! Шевалье расплатился со старым кучером. Тот выкрикнул «хоп» и мгновенно унесся прочь, оставив Казанову в полной тьме. Сначала он даже не смог различить дом Шарпийон. Если бы кто-то…

Дверь открылась. На улицу выглянула служанка Аугспургеров, при свете фонаря ее лицо было желтовато-зеленого цвета. Шевалье двинулся к ней и уже собирался окликнуть, когда рядом показался другой человек, быстро накло-

нился и поцеловал девушку. Она обняла его, и Казанова узнал парикмахера Шарпийон. Эта сцена очаровала его естественностью и полнотой чувств. Ему захотелось объявить о своем приходе и предложить им деньги, чтобы снять номер в какой-нибудь дешевой гостинице на окраине города, словно созданной для молодых влюбленных, или заплатить за них побольше — пусть проведут ночь во Дворце Флоры в Ламбете, где, как говорят, ради любви разрешают любые безумства. Но молодой человек внезапно прошел в холл, и дверь захлопнулась, вновь оставив улицу в темноте.

Может быть, кто-нибудь, например лорд Пемброк, успел предупредить ее, прислал записку? Или Шарпийон сама догадалась, что он вернулся? Наверное, она даже готовится его принять? Просто жаль стучать в дверь и вторгаться, когда она занята своим туалетом. Ему придется провести не менее получаса с матерью и тетками, а они непременно будут говорить о бабушке Аугспургер и глядеть на него с упреком. Эти неловкие встречи, только отнимающие время, описаны во всех романах. Нет уж, лучше подождать у дома напротив. Он войдет, когда в дверях появится парикмахер.

Шевалье шепотом пропел птице: *«Je t'adore, je t'adore…»*

По камням крыльца, где он прятался, забарабанили капли дождя. Они падали на грязную улицу, как шарики из слоновой кости, вращающиеся в тысяче рулеток. На глаза ему не попался ни один прохожий. Да и кто станет гулять по улице в такую ночь? Он боялся, что попугай простудится.

— Je t'adore… je t'adore…

Сзади него пробежал ночной сторож в длинном дождевике. Свет его фонаря плясал над лужами. Ну сколько еще ждать? Какой немыслимый фасон придумала Шарпийон для своей прически? Какие скульптуры с колоннами возводит молодой человек на ее очаровательной головке?

— Je t'adore… je t'adore…

Сквозь подошвы его башмаков просочилась ледяная и грязная вода. Если он задержится еще на несколько минут, то предстанет перед ней в мокром, прилипшем к телу камзоле. А вдруг у него возобновится лихорадка или обострится геморрой, не дававший покоя со времен тюремного заключения в Поломби? И от боли все мысли об удовольствиях напрочь вылетят из головы. Он должен войти к ней или вернуться назад. Но если он сейчас отправится домой, то гиней ему

больше не видать. Этот молодой кобель лорд Пемброк вволю посмеется над ним, а значит, над незадачливым любовником начнет издеваться и весь Вест-Энд.

Казанова поднял клетку с попугаем, осторожно переступил через грязную лужу на Денмарк-стрит и постучал в дверь. Ответа не последовало. Он опять постучал и почувствовал, как дверь приоткрылась под тяжестью его кулаков. Распахнул ее и остановился в темном холле, по-прежнему держа клетку в руке. Как небрежна их служанка, отчего она не заперла дверь на засов? Но потом понял, что девушка сделала это для своего красавчика. Когда они расстанутся, он сможет тайком выскользнуть наружу. Хитрая девчонка! Казанова опустил клетку на пол, отпер ее, и попугай вылетел на свободу.

— Je t'adore… — пробормотал шевалье. — Je t'adore.

Птица устроилась у него на рукаве, он взъерошил красные теплые перья и медленно двинулся по коридору. Из-за двери гостиной мелькнули слабые отблески света, и его сердце тревожно забилось. Казанова прижал ухо к деревянной дверной панели. О, теперь он услышал ее голос. Неужели она… да, она плакала. Бедная Мари!

Должно быть, она очень любила свою бабушку! Не лучше ли ему сейчас удалиться? Несомненно, он поступит благородно, но как быть с его венецианской гордыней и насмешками чужаков? Однако что-то иное, извращенное и неодолимое, мешало ему повернуться, словно в нем скопились силы, толкавшие вперед.

Шевалье погладил попугая по голове, глубоко вздохнул и отворил дверь.

Сперва они не заметили его, продолжая бороться, и в упор глядели друг на друга. Казанова стоял на пороге, боясь сделать шаг, и, наверное, мог бы еще отступить в коридор, украдкой выбежать из дома под проливной дождь и скрыться, лишь бы не играть столь жалкую роль. Но вот он уже набросился на них, подняв свою крепкую трость; попугай по-прежнему сидел у него на локте. Шарпийон вскрикнула и спихнула парикмахера на пол. Тот упал на ковер и распластался плашмя, мокрый от удовольствия, с уморительно огромной эрекцией, и, чудом извернувшись, принял удар тростью на спину. Раздался глухой, какой-то влажный звук. Попугай яростно взвизгнул, взлетел, неуклюже закружился по комнате и, нырнув в дверь, исчез в темноте коридора. Парикмахер с кровоточащим ухом вцепился шевалье в бры-

жи, перемежая проклятия с мольбами, затем попытался укрыться за кушеткой. Но Казанова настиг его, снова ударил тростью и лягнул ногой. Можно подумать, что он постоянно пинал врагов и соперников и досконально изучил их нервные узлы, сухожилия, кровеносные сосуды и нежные, как орхидеи, капилляры. Шарпийон кинулась к шевалье, обрушила на него целый град ударов и спасла своему любовнику жизнь. Теперь они колотили друг друга, точно боксеры на ринге. Он уже не в первый раз испытал на себе силу ее маленьких кулаков, и хотя преимущества оставались на его стороне, девушка постоянно опережала, отвечая тремя ударами на один. Казанова попятился, а парикмахер, воспользовавшись передышкой, ринулся к окну гостиной и рыбкой выпрыгнул в сад. В этот момент в комнате появились мать и тетки, будто строй швейцарских гвардейцев, и, вцепившись в плащ Казановы, оттащили его к стене и не отпускали до тех пор, пока не раздался зловещий хлопок двери и они опомнились, увидев себя со стороны: мужчину средних лет, окруженного женщинами средних лет. Все тяжело дышали, старались не смотреть друг другу в глаза, а потом женщины одновременно заговорили, и хор этих угроз и

обвинений напомнил Казанове оперетту.

— Она промокнет до нитки, простудится, и ее ждет верная смерть! — воскликнула тетка номер один. — Какой вы глупец! — С этими словами она стукнула шевалье веером по носу.

— Вы прокрались в наш дом, как вор! Посмотрите, она даже не надела туфли, — закричала на него мать.

— Вы грубиян, мсье. И запугали бедную Мари до безумия, — заявила тетка номер два.

— Ее могут убить, — сказала мать, крепко стиснув руки и чихнув.

— А если с ней что-нибудь случится, то виноваты будете вы, — веско добавила тетка номер два.

— А как, по-вашему, я должен был поступить, застав ее в объятиях парикмахера? — откликнулся Казанова, чувствуя себя как загнанный олень. — Мог ли я быть спокоен? Мог ли отнестись к этому по-философски?

— Тсс, мсье, — тоном победительницы проговорила мать. — Молодой человек для нее ровным счетом ничего не значит. Это просто возвышенные чувства.

— В юности все так импульсивны, мсье, — добавила тетка номер один. — Разве вы сами не были импульсивны в молодые годы?

— Импульсивен, мадам, — не выдержал шевалье, и его лицо скорчилось в спазмах, будто он проглотил кончик собственного языка. — Импульсивен? Вы рассуждаете как сводня, мадам… Ваша племянница…

— Что вы собираетесь с ней сделать? — вмешалась тетка номер два. — Я уверена, что она провалилась в какой-то подвал. Почему вы здесь стоите? Ступайте и отыщите Мари!

Он уже собирался пригнуться и заорать ей в лицо: «Какого черта я должен это делать? Отчего вы просите меня?» Но тетка была права. Молодая женщина, вне себя от возбуждения, да еще в столь темный, дождливый вечер. Это было отнюдь не безопасно. А вернее, грозило большой бедой. Вдруг с ней и правда что-нибудь случится? Несомненно, отвечать придется только ему.

Какое-то время все молчали. С подлокотника кушетки свисала одежда, нижнее белье, обычно скрытое от посторонних глаз. Он повернулся и заметил, что служанка смотрит на него, стоя в дверях и широко разинув рот. Казанова попросил ее принести фонарь. Он целый час бродил под дождем, потом возвратился в дом. Не появилась ли Мари? Нет, ее не было. Женщины смотрели на него так, словно с его пальцев стекали не

капли дождя, а кровь девушки. Его мысли метались по замкнутому кругу, и он никак не мог решить, кто же виноват в этой истории. Разве его, Джакомо Казанову, шевалье де Сейнгальта, только что не втоптали в грязь? Наставить ему рога с парикмахером? А если она не побрезговала парикмахером, то почему бы ей не заняться любовью с мальчишкой-разносчиком, с дворником, со старьевщиком?

Потом он увидел себя чужими глазами. Высокий, подозрительный иностранец ворвался к женщинам в дом, размахивал перед ними клеткой с попугаем, избил парикмахера, и тот весь месяц будет ходить со шрамами и синяками, словно с татуировкой. Да и могла ли изменить ему Мари, не дававшая ни клятв, ни обещаний? Почему он решил, что они наконец поняли друг друга? И о каком понимании должна была идти речь? Она спокойно может утверждать, что он преследует ее чуть ли не с первого дня знакомства! Дрожь пробрала шевалье до костей. Он извинился и отправился к себе на Пэлл-Мэлл, разбудил Жарбу, разбудил повара, послал Жарбу за часами и вновь вышел со своей свитой на улицу. Зажег фонарь, осветив блестящие от воды улицы и переулки, ступени и дворы. Ни следа Шарпийон

и ни души вокруг. Никаких признаков жизни. Они не отступались, вытирая падающие на глаза капли дождя, перепрыгивая через чернильные лужи, перешагивая через потоки грязи, и голосили, как призраки утопленников, скандируя по вымокшим слогам имя девушки.

Шевалье еще дважды заходил в дом на Денмарк-стрит и дважды покидал его без ответа. Он до того устал, что его тело, казалось, брело где-то сбоку или сзади, а иногда и нависало над ним. И лишь когда в конце последнего путешествия Жарба взял его за руку, довел до Пэлл-Мэлл и его спальни, помог раздеться и усадил к огню, Казанова почувствовал, что лишился этой проклятой ночью всех оставшихся сил.

Он заплакал. Жарба утешал его. Жарба никогда не терял душевного равновесия, ведь его прежний хозяин выбросился за борт корабля на глазах у слуги и больше не всплыл на поверхность. Они поищут утром. Они ее найдут. Разумеется, она ушла к какой-нибудь приятельнице. Вероятно, к мисс Лоренци.

— Благодарю тебя, Жарба, — пробормотал шевалье и, точно инвалид, позволил уложить себя

на гору подушек и одеял. — *Caro*[34] Жарба, как ты думаешь, дождь когда-нибудь перестанет лить?

Жарба не ответил ему. Он ушел. Казанова попытался прочесть молитвы, но когда закрыл глаза, то увидел не Шарпийон и ее парикмахера, изображавших на кушетке животное с двумя спинами, а самого себя. Или, точнее, себя в их восприятии. Эта картина повторялась сотни и тысячи раз. Вот он вбегает в комнату, бледный, с перекошенным ртом. Каким же чудовищем он им показался…

Его часы гулко жужжали в кабинете у кровати. Внезапно ему стало ясно, что он не уснет, а уж если уснет, то навеки, с пулей в голове.

Где-то неподалеку должны быть его пистолеты — длинноствольные орудия убийства хряков. Очевидно, он оставил их в одном из дорожных баулов. Или Жарба успел спрятать их в нижний ящик комода? Не попросить ли его их достать? Но мысль о том, как он, спотыкаясь, бродит по комнате в поисках пороха и пуль, была слишком горькой и унизительной. Не лучше ли нанять профессиональных убийц, которые приплясывающей походкой войдут к нему и удушат руками

---

[34] Примечания: 34
Дорогой *(ит.).*

в перчатках? Такие люди непременно найдутся в огромном Лондоне.

Пламя свечи превратилось в узкую полоску света, затрещало и погасло. Через минуту он услышал, как в доме напротив распахнулось окно и хорошо знакомый голос, подобно муэдзину, выкрикнул загадочные слова. Казанова выглянул из своего окна, но никого не увидел. Дождь не прекращался до утра.

Первые новости были неутешительными. Гонец, явившийся с запиской с Денмарк-стрит, сказал, что Шарпийон до сих пор не нашли. Шевалье беспрестанно расхаживал по дому, что-то бормотал, кусал ногти, но потом собрался и прошел по Пэлл-Мэлл, поднявшись к Хеймаркету под прикрытием своего тяжелого зонта, хотя его башмаки промокли насквозь. Все вокруг окрасилось в серебристо-серый цвет, и трудно было отличить, где сливаются с небом крыши и где отделяются от улицы ступени зданий. Даже люди выглядели издали серебристыми, совсем как шпили церквей в Нидерландах.

Шарпийон вернулась. Служанка хмуро сообщила ему об этом в дверях, как будто ей велели нахмуриться и она долго тренировалась перед зеркалом.

Может ли он повидать ее хозяйку и узнать, как она себя чувствует?

Нет, не может. Никаких посетителей, кроме врача, к ней не пускают. Только хирурга, аптекаря, рассыльного из аптеки. И…

— Но, по крайней мере, скажите, дитя мое, что с ней случилось? Ее жизнь в опасности?

— Вы погубили ее! — воскликнула мать Шарпийон, возникнув за плечом у служанки. — Я еще не видела ее в столь плачевном состоянии. Шок был слишком велик, и у нее задержка.

— Задержка? — уныло переспросил он, не уверенный, что понял смысл этой страшной фразы. — И я ничем не сумею помочь? Если вы не разрешаете мне ее увидеть, то позвольте хотя бы заплатить за ее лечение.

Он достал из кармана туго набитый кошелек, вытащив вместе с ним серо-красное птичье перо. Оно выпало у него из рук и спланировало на порог. Все трое посмотрели вниз.

— Этих средств, мадам, — сказал Казанова, вручив ей деньги, — хватит на самый лучший уход.

Мадам Аугспургер взглянула на кошелек и странно покачала головой, словно мысленно перекатила в кармане стеклянный шарик.

— Деньги, — с презрением произнесла она, а за-

тем взяла кошелек и спрятала в складках платья.

Наконец прибыл врач и направился в холл, оттолкнув шевалье. Дверь захлопнулась, и ее заперли на засовы сверху и снизу. Казанова опять подождал на улице, не отрывая глаз от окон Шарпийон. Он представил себе, как врач сурово качает головой, пока женщины с их розовыми четками повторяют молитвы и сморкаются в свои маленькие носовые платки.

Когда лекарь покинул больную, Казанова бросился за ним вслед и вскочил на ступеньку его экипажа. Тот с изумлением уставился на бесцеремонного незнакомца. Из всех английских слов Шевалье почему-то припомнились карточные термины и два-три изысканных комплимента. Врач принял его за грабителя, швырнул ему в лицо пригоршню монет и ударил в грудь набалдашником трости. Казанова отпрянул, и его ноги увязли в грязи. Прежде чем он смог возобновить попытку, дверь кареты закрылась, и она понеслась к Холборну, разбрызгивая воду на мостовой, точно маленькие фонтаны.

Шевалье побрел домой, считая каждый шаг. От особняка Шарпийон до его собственного дома их оказалось семь тысяч двести двенадцать.

глава 3

Гонцы сновали из дома в дом с утра до вечера. Иногда в записках — он не знал, кто из Аугспургеров писал их, они были без подписи — блистали слабые лучи надежды: Мари произнесла несколько слов, выпила немного бульона, улыбнулась. Но после очередного послания эти надежды исчезали без следа: у нее жар, она стонет, врач ни за что не ручается. В сумерках, когда в воздухе запахло тиной и какими-то мерзкими испарениями с моря, в дверь его особняка постучал невозможный Ростэн и передал последнюю записку, самую худшую из всех:

«Мсье, она вас простила».

Простила!

Он зажег свечу и помолился за ее здравие в церкви баварского посла, потом поспешил на Дюк-стрит и зажег целую дюжину свечей в церкви посла Сардинии. Вернулся домой, проспал два часа, проснулся, полежал в постели и спустился вниз с первыми лучами рассвета. Ему сказали, что вода залила весь подвал. Слуги опасались, что, если дождь будет лить еще два дня, река выйдет из берегов и затопит город. Казанова

рассеянно слушал их и равнодушно кивал. Для него не имело значения, что город может залить. Затопит, ну и ладно.

В девять утра, не в силах более выносить отсутствие новостей, он отправился в паланкине на Денмарк-стрит. Жалкие и промокшие носильщики бороздили своими каблуками широкие лужи. Ставни в особняке Аугспургеров были закрыты. По запрокинутому вверх лицу шевалье потекли струи дождя. Его выкрикам вторило эхо собачьего лая. Никто не откликнулся на его стук.

У ног Казановы в воде раскачивалась детская туфелька, похожая на маленькую лодку. Он поднял ее и повертел в руке. Явное знамение, и отнюдь не доброе. Шевалье с нарочитой небрежностью сунул туфельку себе в карман. В этот момент на улицу вышел человек в черном, лицо его было скрыто капюшоном. Казанова бросился к нему, схватил за плечи и спросил: «Вы врач, мсье?» Но, еще не договорив, увидел сутану и ленты священника. Он отодвинулся и застыл на месте, зная, что служанка приоткрыла окно и стала за ним следить. Когда он вновь поднял взгляд, она торопливо захлопнула ставни.

Итак, он убил Мари. Конечно. С самого начала было ясно, что один из них уничтожит другого.

Их жизни скрестились, как кинжалы. Шевалье вытащил бумажник, сложил банкноты и, даже не потрудившись их пересчитать, просунул в щель над дверью. Расспрашивать ее домашних отныне не имело смысла. По всей вероятности, они подадут на него в суд, и ему придется защищаться. Он рассмеялся. Одежда прилипла к его телу, кудри парика развились, а чулки почернели от потоков уличной грязи. Возвратившись на Пэлл-Мэлл, он разделся у себя в комнате и бросил на пол сырой ворох одежды. Затем встал перед зеркалом и посмотрел на себя глазами гробовщика. Смерть представлялась ему неминуемой и скорой. Никакая ароматическая пудра или золото не помогут человеку избежать роковой минуты. Ее можно отсрочить, оглушить себя болтовней, картами и мелким обманом, но пробил час, к нему явилось это молчание истины цвета дождя, и он почувствовал — жизнь кончена.

Кому-то этот момент перехода в небытие кажется ужасным, но он ощутил, что достиг желанной цели, к которой шел уже давно. Она не пугала его, и неизбежная печаль была чем-то вроде легкого облака. Наверное, подсознательно, на каком-то уровне он постоянно стремился поставить точку. А если так, то Казанова сожалел лишь об одном:

Шарпийон найдет свою смерть, помогая ему отыскать собственную. Какой запутанный клубок отношений, невыразимо неловкий и непростительный и для него, и для нее. Он поджал губы перед зеркалом, послал себе прощальный воздушный поцелуй и отвернулся.

Потом достал из гардероба сухую одежду, надел серый французский камзол, аккуратно расправил его складки и сел за стол писать столь необходимые ныне письма. Он не без удовольствия прощался с миром, запечатывал каждое письмо французским сургучом и больше мог о нем не думать. Конверты громоздились один на другой. Шевалье зажег свечу и выпил рюмку бренди. Удивительно, скольких людей он знал. Своим лучшим друзьям он написал как можно короче. Они получат письма в Венеции и Риме, в Париже и Кенигсберге, сорвут печати, швырнут на стол их черные обломки и все поймут. Таков век, таков стиль жизни.

Он продолжал писать и следующим утром. Казанова так часто точил перо, что оно сделалось не длиннее его мизинца. Не снять ли ему кольца? Он покрутил их на пальцах, наконец стянул и выложил в ряд на столе. Потом размял руки и щелкнул костяшками пальцев. Раздвинул став-

ни — дождь по-прежнему лил, но чуть слабее. Шевалье оглядел комнату и переставил в ней кое-какие мелочи, вообразив себе, как сюда войдут его приятели и незнакомые, переворошат его книги, выдвинут ящики и, возможно, прихватят что-нибудь на память. Ну, как же, это сувениры великого Казановы.

Теперь он был готов и спустился вниз. Взял зонт, стоявший в углу у двери, и покинул дом. Ему не хотелось попадаться Жарбе на глаза. Если тот посмотрит на него, то сразу обо всем догадается. Бедняга! Не повезло ему с хозяевами!

На улице его рассудок избавился от давящего груза и впервые за долгие месяцы, а быть может, и годы обрел полную свободу. Казанова отлично почувствовал себя и ожил за десять минут прогулки по Пэлл-Мэлл. Он любовался миром, бесконечным разнообразием деталей, как приговоренный к смертной казни. Купил дроби в лавке оружейника напротив кофейни Мью на Чаринг-Кросс и запихал в карманы столько, сколько влезло. Шевалье продолжил путь уже не столь быстрым шагом и когда добрался до лестницы Уайтхолл-Степс, чтобы переплыть в лодке к Тауэру — этот маршрут был выбран для ухода из суетного мира, — его ноги увязли в гря-

зи, а шея и плечи заныли от тяжести свинцовой дроби. Двигаться стало так трудно, будто он уже погрузился на дно.

Вода в реке поднялась, залив ступени. Казалось, что лодки находятся на одном уровне с улицей. Казанова дал знак гребцам, но испугался, что сейчас соскользнет с берега и завершит свою жизнь уж слишком предсказуемо и буднично, без должного эффекта. Он обхватил деревянный столб, покачиваясь под раскрытым зонтом, и занес ногу на корму лодки.

— Сейнгальт!

Шевалье обернулся и присел у кромки воды. Оклик привел его в ярость. Кто посмел прервать его последнее, печальное и прекрасное путешествие под дождем?

— Сейнгальт!

На дороге у стены остановилась карета, запряженная четверкой холеных черных лошадей. На мгновение Казанова подумал: а что, если не обращать внимание и не отзываться на этот грубый и властный голос? Сделать вид, будто не расслышал. Через полминуты он уже доплывет до середины реки, и никто больше не сможет позвать его назад.

— Сейнгальт!

Его тяжелого вздоха могло бы хватить на троих. Казанова отдернул ногу и нехотя поплелся к карете. Лорд Пемброк высунул голову из ее окна.

— Вы сегодня не брились, — заметил шевалье. — Я еще ни разу не видел вас заросшим щетиной.

Лорд Пемброк пощупал свой подбородок и с отвращением поморщился.

— Я провел ночь в Молл-Кинг. В два часа я лишился своего состояния, титула, всей одежды и даже часов. Если бы я тогда ушел, у меня не было бы даже пистолета, чтобы пустить себе пулю в лоб. Пришлось бы прибегнуть к вашей помощи, Сейнгальт, и воспользоваться вашим оружием.

— Я так понимаю, — ответил Казанова с таким чувством, будто они разговаривают во сне, — что при следующей раздаче выиграли вы.

— Именно так, и теперь разорен кто-то другой. Кстати, куда вы направляетесь?

— Да никуда, милорд. Просто дышу утренним воздухом.

— При таком ливне недолго и заболеть. Он барабанит прямо по мозгам, и любому человеку самое место в Бедламе. Садитесь ко мне в карету. Я еду к своему цирюльнику, а потом хочу немного попраздновать. Как-никак мне удалось

отыграться. И приглашаю вас. Вам это ничего не будет стоить.

Шевалье принялся извиняться и отказываться, но лорд Пемброк отмахнулся от его доводов. Тогда Казанова решил, что задержка в какой-то час ничего не значит для человека, уже стоящего на пороге вечности. Он сложил зонт и устроился в карете напротив молодого лорда.

— Скажите мне, Сейнгальт, я выиграл наше маленькое пари?

— Да, выиграли, милорд. Деньги ждут вас на Пэлл-Мэлл. Вы можете взять их когда пожелаете.

Пемброк ухмыльнулся:

— Значит, вы наконец решили от нее отступиться? А если так, то, надеюсь, не будете возражать, если я попытаю счастья.

— Нет, милорд, не возражаю. Теперь мне это безразлично.

В цирюльне шевалье строил планы, размышляя, как бы ему отказаться от приглашения. Одна мысль о праздновании — которое наверняка примет форму оргии — наполняла его душу непреодолимым отвращением. Он несколько раз собирался заговорить с лордом, но, открывая рот, не мог вымолвить ни слова. Закрытое полотенцами лицо лорда Пемброка было окружено горячим

облаком пара. Цирюльник стоял рядом со своими пинцетами, скрежещущими бритвами, кожаными валиками и длинными спиралевидными приспособлениями для завивки волос. Он наточил бритву и провел лезвием по ладони. Казанова съежился. Мужество и решимость полностью покинули его. Зачем он пошел с лордом, зачем спустился в это парикмахерское чистилище?

У него даже нет сил подняться с кресла, и он будет вечно вдыхать тошнотворные запахи пудры и пережженных волос. Однако пример оказался столь заразительным, что когда свежевыбритое лицо молодого лорда вновь сделалось по-девичьи гладким и сияющим, шевалье встал и дотащился до кареты. Честно признаться, его изумляло, почему лорд Пемброк не может разглядеть, что рядом с ним сидит мертвец. Или же его светлость понял это сразу, еще с берега? Заинтересован ли милорд в спасении жизни Казановы?

Они остановились у таверны на Дерти-лейн. Пемброк заказал отдельный кабинет и велел подать закуски. Он назвал имена четырех женщин, кажется, хорошо известных хозяйке таверны. Вскоре официанты принесли подносы с блюдами и вино. Шевалье отпил глоток шампанского. Оно было на удивление хорошим. Он попробовал

кусок холодного голубя. Странно представить себе, но еще час назад он полагал, что никогда не сядет за стол и больше не съест ни крошки.

— Музыканты, милорд?

В кабинете в сопровождении слуги бесшумно появились четыре человека. Каждый из них держал в одной руке инструмент и опирался другой на плечо идущего впереди. Конечно, догадался Казанова, какая же оргия без слепых музыкантов.

Женщины прибыли позднее. Возможно, они задержались на другой сатурналии и в другой таверне с другим молодым лордом и его приятелем-иностранцем. Они вошли, посмеиваясь и стряхивая с пальцев дрожащие капли дождя. Лорд Пемброк познакомил их с шевалье, и музыканты начали играть — их бесцветные глаза были полузакрыты, а на сморщенных лицах застыло скорбное и испуганное выражение, словно они ждали, что из темноты в любой момент высунется какая-то рука и ударит их.

Женщины пили. Лорд Пемброк пил. Шевалье улыбался им, как снисходительный священник, приглашенный на венчание, которого он в глубине души не одобрял. Одна из проституток, молоденькая нормандка Селеста, устроилась у

него на коленях. От ее несвежего платья пахло театральным реквизитом. Он похлопал ее по руке, но когда она придвинулась и попыталась поцеловать его в щеку, осторожно отстранил девушку.

— Вам нездоровится, мсье?

Он пояснил ей, что ничего особенного с ним не случилось, так, небольшое недомогание, и слабость быстро пройдет. Ему не хотелось бы мешать их веселью. Лорд Пемброк и другие женщины принялись танцевать, на ходу снимая одежду. Его светлость позвал Казанову присоединиться к ним, но тот махнул рукой и уклончиво ответил:

— Я присоединюсь к вам чуть позже. Сейчас я еще не в себе.

Селеста скользнула рукой у него между ног, почувствовала равнодушие шевалье и удивилась.

— Не желаете, чтобы я расшевелила вашего мальчика, мсье? — осведомилась она, точно спросив у него название столицы Перу.

Он покачал головой. И убрал ее руку. Казанова и сам не мог себе поверить. Даже в припадке гнева или в глубокой меланхолии он всегда был способен воодушевиться и вкусить поставленное перед ним блюдо. Но теперь мечтал избавиться от Селесты, давившей на него своими телесами,

и ему вполне хватало собственной тяжести.

— Я желал бы посмотреть, как ты танцуешь, — проговорил он.

Лорд Пемброк и девушки плясали нагишом нелепую джигу. Селеста тоже скинула платье и стала танцевать вместе с ними. Шевалье бросил взгляд на дверь, прикидывая, удастся ли ему незаметно скрыться и выбросить свинцовую дробь. Но где он ее оставит? Не покажется ли это странным? Не разгадают ли они сразу его тайну?

Он налил себе новый бокал шампанского и откинулся на скамье.

В камине горел огонь. Казанова зевнул. Какой спектакль устроили эти молодые люди. Неужели им так весело? Ему было трудно поверить, что они развлекаются от души. Интересно, о чем думают музыканты? Вдруг воображают, будто лишены красочного зрелища олимпийского буйства, прямиком с картин Фрагонара? Шевалье захотелось разъяснить слепым, что они ничего не потеряли: просто четыре потаскушки и развратный юнец резвятся в кабинете таверны, как дети-переростки, но без присущего детям достоинства.

Танцы сменились любовными играми. Казанова отдал должное профессиональной технике лорда Пемброка. Он следил за ним спокойно, без

эмоций, как за партнером по карточному столу. Впечатление было не слишком сильным, однако он поднял бокал и ободряюще улыбнулся. После танцев от Селесты запахло еще резче, и она опять забралась к нему на колени. Похоже, ее изумило, что настроение шевалье осталось прежним.

Как бесконечно тянется это празднование! Он с облегчением вздохнул, когда молодой лорд стал одеваться. Лишь благодаря огромному усилию воли Казанова смог подняться со скамьи и достать монету из кармана. Он отдал ее Селесте.

— Вероятно, мсье обратится ко мне в следующий раз, когда у него разыграется аппетит, — предположила она.

— Несомненно, — отозвался шевалье, гадая, пройдет ли он несколько шагов или упадет на пол и потеряет сознание.

Они спустились к карете его светлости. Музыкантов вывели из таверны, точно узников. Когда экипаж добрался до Пэлл-Мэлл, улицы уже покрыла тяжелая, предсумеречная мгла.

— Я заеду за вами в восемь часов, Сейнгальт. Мы поужинаем в Рейнло. Мне не нравится, как вы выглядите. Совсем не нравится.

— Милорд, вряд ли вас устроит мое общество. Может быть, когда-нибудь… — Но у него не хвати-

ло духа возразить. — Хорошо, милорд. В восемь.

Sequere Deum[35]. Он побрел к дому, толкнул дверь каблуком и сбросил плащ, упавший на пол с громким стуком, или, вернее, плеском, потому что холл был покрыт водой как минимум на дюйм. Жарба, повар и миссис Фивер стояли на коленях в дальнем конце холла и орудовали метлами и ведрами. Казанова медленно опустился на колени, глядя в упор на озерца отраженного света свечей. Огоньки пульсировали и вспыхивали, как галактики неустойчивых планет. Он закрыл глаза. Сколько воды!.. От нее пахнет… От нее пахнет… Домом!

---

[35] Примечания: 35
Следуй за Богом *(лат.).*

глава 4

В восемь часов Казанова и Жарба уселись в экипаж лорда Пемброка. Дробь осталась лежать под кроватью в ожидании момента, когда шевалье освободится от своих светских обязательств и будет волен утопиться. Им удалось доехать лишь до конной переправы на Вайн-стрит. Дальше дороги стали непроходимыми и утонули в грязи. В некоторых лужах могла бы целиком сгинуть почтовая карета.

Фонарь кучера освещал путь, и они пешком двинулись к берегу. Дождь лил не переставая, мужчины пригнулись и опустили поля своих шляп, чтобы уберечь парики.

— Такого разлива реки я еще не видел, — заметил лорд Пемброк.

— А это опасно? — с надеждой осведомился шевалье.

— Что может быть безопаснее лодки во время половодья? — отозвался лорд, пытаясь закрепить и развернуть зонт Казановы.

Они заскользили по темной коже Темзы. Лодочник что-то негромко пробормотал, как будто жалуясь самому себе, крепко сжал весло и со-

средоточенно осмотрелся по сторонам. Течение вынесло их на простор между Воксхоллом и Тотхиллом, они миновали водяные мельницы Баттерси и дамбы Челси. Лодка набрала скорость и плавно подплыла к причалу, где другие паромщики раскачивались в своих суденышках и ждали, когда отхлынет прибой. Лишь самые смелые решались пуститься в путь в такую пору. Шевалье выбрался из лодки, и когда он карабкался по склизким деревянным мосткам, ему почудилось мелодичное пение на родном языке. Неужели кто-то из лодочников запел арию из «Меропы» Джамелли? Нет, не может быть. Наверное, это шутят дождь и ветер. И всплески, завывания, звон капель, шипящие юбки ливня, взметнувшиеся, будто призраки или белые ладони ветра. Неудивительно, что он ослышался.

Вход в Рейнло стоил полкроны. Лорд Пемброк заплатил, и они сразу очутились в ротонде, восхитившись ее теплом и великолепием. С крыши на длинных цепях свисало тридцать канделябров, и под их золотым светом у центральной колонны столпилось не менее двухсот человек. Шлейфы женских платьев мели тусклый зеленый пол. В ротонде собралось изысканное общество, не чета завсегдатаям садов Воксхолла.

Дельцы из «Миллион Бэнк», «Компании Южных Морей», «Левантинской компании», «Коуттс» и Королевской биржи в камзолах из черного бархата с уверенным видом дефилировали среди лондонской знати, будто баржи с углем между воздушными яхтами на регате. Многие лица были хорошо знакомы даже Казанове. Вот лорды, вот жены аристократов, вот куртизанки, а рядом с ними знаменитые художники. А кто это, разве не леди Стенхоп вместе с Каролиной Фицроу? И конечно, он узнал герцогиню Графтон, шептавшую что-то на ухо лорду Бристолю.

Накрытые для ужина столы кольцом опоясывали ротонду. Лорд Пемброк, кивая на ходу своим друзьям, кузенам и приятелям по клубу «Уайтс» и «Клубу адского огня», подвел шевалье к свободному столу и тут же распорядился подать им кружки с глинтвейном. Обоим нужно было согреться и побороть пронизавшую их до костей сырость.

— Скажите мне, Сейнгальт, вам уже лучше? Вы не чувствуете, что воскресаете к жизни? По-моему, здесь очень элегантно.

Казанова согнул локти, его веки отяжелели, будто створки ореховой скорлупы. Он наклонил голову и поблагодарил его светлость за оказан-

ную любезность. Вот так Лазарь ждал, когда Христос и его спутники уберутся наконец восвояси, невольно подумал он. Но, представив себе лорда Пемброка в роли Христа, еле удержался от смеха.

— Вы заметили, сколько тут красоток, — продолжал допытываться лорд. — Я не в силах поверить, что вы утратили к ним всякий интерес. — Неужели при виде этой девушки, беседующей с Горацием Уолполом, вам не хочется съесть целую бочку устриц?

— Вы правы, милорд, хочется, — не глядя, откликнулся шевалье.

— Выпьем еще глинтвейна, — предложил лорд Пемброк, — и я представлю вас любой нимфе, поразившей ваше воображение.

Вдали у центральной колонны оркестр заиграл менуэт, и несколько мужчин и женщин, решивших потанцевать, подошли к скамьям музыкантов. Они неторопливо, как бы прогуливаясь, сделали первые па. Очарованный этим зрелищем, Казанова отпил большой глоток глинтвейна, позавидовал им и мысленно стал подражать их движениям.

До чего же прилипчива жизнь! Как трудно от нее отделаться! Если он не будет лелеять свою

холодность, то еще, чего доброго, устрашится того, что вознамерился сделать завтра или через день. Шевалье посмотрел на сладкий нежный крем, вьющийся на тарелке, и ткнул вилкой в угол пирога с олениной. Он был так вкусен, что на глазах у Казановы выступили слезы. Вернувшись из усадьбы, он питался чем придется. Шевалье взял себе еще кусок.

Пока тесто таяло у него на языке, он принялся размышлять о несовершенстве человеческой натуры. Наши аппетиты ненасытны, даже когда разум говорит: «Довольно». Когда-нибудь мы, возможно, научимся умирать по своей воле, но кто в таком случае дотянет хотя бы до отрочества?

— Сейнгальт, — обратился к нему лорд Пемброк, нахмурившись и вскинув голову. Он сразу напомнил шевалье его несчастного попугая. — Вы слышите шум? Кажется, это…

— Шум, милорд?

Жарба указал на люстры — их дрожащие хрустальные подвески ритмично зазвенели, и этот звук можно было без труда отличить от музыки оркестра. Несколько официантов тоже уловили его, остановились с подносами и взглянули на перевернутую чашу потолка.

— Знаете, — не скрывая волнения, заметил

лорд, — в пятидесятом году у нас было землетрясение, от которого обрушились все дымовые трубы.

— А в пятьдесят пятом, — откликнулся Казанова, — землетрясение сдвинуло потолочные балки в моей венецианской камере. Я провел девяносто семь дней в одиночном заключении и решил, что Господь сжалился и явился меня спасти.

Он вновь перевел взор на танцующих. Они продолжали выделывать короткие па, скованно двигаясь по своим орбитам и не обращая внимания на тревогу, медленной рябью заструившуюся по ротонде. Последние полминуты шевалье не отводил глаз от спины молодой женщины в платье из пестрого шелка, от ее кремовых юбок и синих бантов на плечах. Хотя на таком расстоянии трудно было что-то утверждать, ему показалось, что он узнал эти туфли со вставками из синего сатина.

Лорд Пемброк опять заговорил с ним, на сей раз торопливее и настойчивее, но Казанова не слушал его. Танец закончился, женщина по-прежнему стояла к нему спиной. Она подняла руки — вот ее локти с ямочками, вот ладони в розовых шведских перчатках. Шевалье привстал и вздрогнул. Все это не имело ни малейшего

смысла. Может быть, у него галлюцинации? Или он пьян? Он шагнул от стола, неловко задев скатерть, и вслед за ним на пол полетели бокалы, тарелки, вилки и ножи. Но Казанова даже не обернулся, а позвал ее, громко выкрикнув имя. Она не услышала его. Да и он с трудом мог себя услышать — в голове у него звучал басовитый грохот. И, такое впечатление, не у него одного.

— Мари Шарпийон!

Ее спина напряглась. Теперь их отделяла лишь дюжина шагов, и откуда-то, чуть ли не из центра мира, донесся низкий, унылый гул. Точно сам дьявол захлопнул двери. Музыканты привстали на своих скамьях, а с десяток дам без чувств упали в объятия своих спутников.

— МАРИ ШАРПИЙОН!

Наконец она обернулась. Какое у нее испуганное лицо, как она бледна. Можно подумать, что действительно мертвец вылез из могилы потанцевать. Он приблизился к ней, и крупная рука, по-прежнему без колец, потянулась к ее горлу и чуть было не дотянулась, но двери ротонды сорвались с петель и с шумом упали внутрь, а привратники в ливреях взлетели высоко в воздух от напора хлынувшей воды. Стоявшие в дальнем углу наблюдали за черной, зловещей силой, за

неистовым приливом, вбиравшим в свое чрево генералов и официантов, титулованных вдов и столы для ужинов.

Казанова захохотал отрывистым, лающим смехом. Итак, река все же явилась за ним! Рейнло — это, конечно, не Тауэр с его мрачным величием, но, несомненно, ему лучше будет завершить свой жизненный путь в пучине увеселительных садов. В этом есть некая закономерность, может быть, даже символ. К нему уже вплотную подступила черная кромка воды. Шевалье покрепче уперся ногами в пол, а затем его подняло и закружило, как ребенка. Его нос внезапно оказался вровень с лампами, и он инстинктивно наполнил легкие; последний глоток свежего воздуха. Что-то — бутылка или башмак? — стукнуло его по плечу. Он упал, вихрь сорвал с него камзол, а туфли слетели с ног. Поток раздел его донага, как утопленника у моста, и затянул в свой водоворот. Его подбрасывали вверх незримые струи, но здесь было тихо, и он слышал, как бьется его сердце, а вода с силой давит на барабанные перепонки. Казанова открыл глаза. Поток был не таким черным, как он себе вообразил. Над ним сияли молочные озера, в которые еще роняли свой свет уцелевшие люстры.

Его левая рука прикоснулась к правой руке Шарпийон, или это она взяла его за руку? Ее тугие перчатки соскользнули, как фруктовая кожура. Руки девушки были загадочно белыми, юбки колыхались, точно медуза, а волосы кровавым облаком парили вокруг головы.

Он по-собачьи замолотил по воде. Теперь Мари погибнет вместе с ним, и он станет ее суицидальным палачом. Разве это не знак божественной справедливости? Как хорошо, что он так и не научился плавать! Шарпийон пристально глядела на него изумленным, нежным и испуганным взором. Она попыталась отстраниться, понимая, что он задумал. Пока они боролись, мимо проплыл стол, и человек, все еще сидевший на стуле с бокалом в руке, погрузился в самую толщу потока. Из уголка губ Шарпийон потянулась цепочка жемчужных пузырей. Вода сдавила грудь шевалье жгучим обручем. Очень скоро он откроет рот и впустит реку в свои легкие. Нетрудная задача для мальчишки из Серениссимы.

Казанова крепко держал девушку в руках. Похоже, она сдалась; по крайней мере — не сопротивлялась. Ее волосы ласкали его лицо, ее руки безвольно легли ему на плечи. Он приподнял ее голову. Глаза Шарпийон были открыты, но он не

понял, куда обращен ее взгляд — то ли вовне, то ли в глубины души. Наверное, она видела разные чудеса. Казанова испустил стон — колышущийся, с радужными переливами, пузырь отчаяния. Он обнял девушку за талию, поднял с невесть откуда взявшейся былой прославленной силой и подбросил ее вверх. Она взлетела и поплыла в облаке кремовых юбок. Поток уносил ее все дальше, скрывая в сияющих кубках света. Последний миг, и вот Шарпийон исчезла навеки, навсегда.

Он выдохнул воздух, откинулся на спину и стал опускаться…

...

— Дышите, синьор!

Да, он дышал. Это было похоже на какой-то треск в воздухе или на полночь в середине зимы. Финетт проснулась, затряслась и уставилась на него, своего таинственного бога. Старик откашлялся, потрепал ее по ушам и приободрил.

— Не сейчас, попозже, — прошептал он.

Собака снова улеглась у камина, осторожно, наугад продвигаясь между явью и сном.

— Неужели это смерть? — спросил он подсевшую к нему чуть поближе гостью. — Приходит день, и вы забываете вздохнуть, забываете приказать своему сердцу биться, а крови течь в жилах?

— Это полусмерть, синьор. Ведь смерть в равной мере и забвение, и воспоминание.

Он наклонился к ней в кресле, сделал паузу и продолжил рассказ:

— Это было знаменитое, великое наводнение тысяча семьсот шестьдесят четвертого года, синьора. Сильнее всех прежних и будущих наводнений. Ветер, прибой и сама луна точно вступили в сговор и обрушились на Лондон. Наверное, вы

подумали, что я преувеличиваю, но, клянусь памятью моего отца, половодье затопило все нижние кварталы. Над водой поднимались только крыши и шпили церквей. Кто знает, сколько человек погибло? Сотни, а быть может, и тысячи. В основном бедняки, богатые оказались куда плавучей. В Пэлл-Мэлл потоки поднялись почти до моих окон и остановились не доходя буквально нескольких дюймов. Жарба спас меня из ротонды, довез до дома и уложил в постель. Жизнь во мне еле теплилась. Я с трудом приходил в себя, лежал целыми днями и видел за окном мертвецов, плывших, как страшные лилии, — мужчины лицами вверх, женщины лицами вниз, в точности по Плинию. И страдали не только люди. Мимо меня проплывали раздувшиеся трупы лошадей, собак и скота, усаженные целыми стаями стервятников. Ужас! И к тому же невыносимая вонь! Но англичане — народ практичный и подобно мне сумели приспособиться к половодью. Утонувших вылавливали сетями и транспортировали к оставшимся над водой холмам. В ту пору они превратились в городские кладбища вроде Сан-Микеле. Дождь прекратился. Засияло солнце. Король и королева объехали город в королевской барже, желая приободрить народ. И хотя

многие тогда голодали, но поднялись на крыши и радостно приветствовали королевскую чету. Да, синьора, это была катастрофа, настоящее бедствие, однако оно начало походить на праздник. Там, где раньше стучали колесами по брусчатке кареты, появились лодочники. Дети прыгали в воду с дымовых труб. А однажды я заметил, синьора, как фрегат Его Величества с поднятыми флагами пришвартовался у здания оперы.

— И вы, синьор, наслаждались изменившимся обликом города, зная, что убили вашу мучительницу?

— Я ее не убивал. Возможно, я ее даже спас. Вскоре я вновь увидел Мари Шарпийон. Она была немного бледна и плыла по парку вместе со своими тетками, матерью и шевалье Гударом.

— Да у нее, похоже, было больше жизней, чем у кошки!

— По-моему, синьора, она могла перехитрить смерть на любом повороте судьбы.

— На любом повороте судьбы, кроме последнего, синьор. Но скажите мне, вы испытали облегчение при этой встрече? И, наконец, избавились от своей роковой страсти?

— Мне трудно ответить вам, синьора, что я тогда почувствовал. Я навсегда расстался с ней

под водой в ротонде, это правда. Я больше не желал быть ее любовником и не ревновал ее к парикмахеру. Наваждение осталось в прошлом, и я не собирался преследовать Шарпийон или пытаться — что же это было? — заново начать свою жизнь, бунтовать против уготованной мне роли, бунтовать против Бога. Я даже лишился в этом потопе немалой части своего состояния, как и многие. Нет, когда я оправился от болезни, то занялся готовкой особого блюда. Умные люди предпочитают подавать его на стол холодным. Уверен, что вы слышали о нем, синьора.

глава 5

Через две недели после наводнения, когда город еще был во власти стихии, Казанова в сумерках плыл на лодке с констеблями. Увидев счета и расписки, судья сразу признал их подлинность и выписал ордер. Теперь шевалье оставалось только указать, какую из женщин следует взять под стражу.

Они свернули на Сохо-сквер. Ставни на верхнем этаже Карлейль-хауса оказались открыты. Девочка в голубом чепце высунулась из окна и помахала им.

— Мсье!

— Софи!

Паромщик подогнал лодку к окну. Казанова, с юности выучившийся стоять в качающейся на волнах скорлупке, поднялся во весь рост и взял свою дочь за руки.

— У нас будет званый вечер, — наклонившись к нему, сообщила она. — Таких торжественных приемов мама еще не устраивала. Мы заплатим все наши долги! Приходите, мсье. Мы ждем вас в воскресенье вечером.

— Билеты стоят четыре гинеи, — сказала мадам

Корнелюс, встав у окна рядом с дочерью. — Плата вперед. Золотом.

Шевалье отсчитал монеты и вручил их своему ребенку. Мадам Корнелюс на минуту скрылась, вернулась и вручила ему билет.

— У вас усталый вид, моя дорогая Тереза, — отметил Казанова.

Она удивленно приподняла тонкие брови, и ее кожа собралась в мелкие складки.

— А вы, Джакомо, выглядите так, словно не спали со дня приезда в этот город.

— Куда вы сейчас едете? — поинтересовалась девочка. — Может быть, вы зайдете к нам и еще раз потанцуете со мной? И кто эти господа с вами в лодке, мсье?

Констебли забрались в особняк на Денмарк-стрит через окна спальни Шарпийон.

— Вот одна из них! — воскликнул шевалье и показал на мадам Аугспургер.

Она сидела в изножье кровати дочери, с изумлением глядя на них, а потом вскрикнула. В комнату ворвались тетки и тут же выбежали в коридор, где их догнали констебли. В окне смежной комнаты показалась голова Шарпийон. Сначала Казанова испугался, как бы она не взмолилась

о пощаде. Это был бы ее звездный час, он не думал, что у него хватит сил ей противостоять. Но бледное лицо девушки исказилось от гнева, и она прокляла его:

— Я от души желаю, чтобы вы сдохли в нищете, всеми забытый, с носом, сгнившим, как старая кочерыжка!

Констебли смерили шевалье хмурым взглядом, но в то же время не скрывали удовольствия от своей работы. Они с гордостью выслушали ее проклятия и приволокли из коридора мать и теток, вцепившихся друг в друга и на всю улицу вопивших о произволе и беззаконии, как базарные торговки. Констебли схватили их и вытащили из окна. Лодка оттолкнулась от дома и поплыла по улице. Мадам Аугспургер махала дочери носовым платком, а Мари стояла в окне и тянула к ней руки, хотя расстояние между ними все увеличивалось. «Я настоящее чудовище, — с мрачным ликованием думал Казанова и кутался в свой плащ. — Но как способна обрадовать месть! Неудивительно, что целые города и страны бывают отравлены ее ядом».

Они не могли отвезти женщин ни в одну из старых, известных всем лондонских тюрем, скрывшихся под тоннами воды. Из-за наводнения

тюрьмы превратились в гробницы для заключенных, и в них погибли бездомные бродяги, запойные пьяницы, карманные воры, словом, все ничтожества и «канальи», имена и прошлое которых навсегда исчезли с их последним вздохом. Под тюрьмы наскоро переоборудовали несколько высоких церквей и колоколен. В одну из них — приход Сент-Мэри Ле Странд при королевском дворце Сомерсет — и направились констебли. Они привязали лодку к декоративной вазе на краю крыши и протащили женщин над балюстрадой, словно вязанки хвороста. В этом же застенке томилась дюжина молодцев с крепкими легкими, попавшихся при попытке ограбления затопленных лавок. Отплывая назад, Казанова ощущал спиной налитый свинцовой ненавистью взгляд Аугспургеров, но по-прежнему был невозмутимо спокоен, как закованный в броню. Теперь они поквитались. Когда тебя бьют, отвечай ударом посильнее. Мы усваиваем правила жизни еще на школьном дворе.

глава 6

В воскресенье Казанова и Жарба поехали на званый вечер. Развлечься на Сохо-сквер захотелось не им одним. Большие и маленькие лодки запрудили ведущие к площади улицы и переулки, ибо Корнелюс пригласила к себе «весь Лондон» — и «весь Лондон» дружно откликнулся. Торопливо, но изобретательно выстроенные мостки протянулись от дома почти до Чарльз-стрит. Свет ярко горел, и отовсюду доносились пение и веселые возгласы. Ночь выдалась холодная, и луна плавно раскачивалась над колыбелью вод.

У стола в банкетном зале царила такая давка, что лишь самые сильные гости могли шевельнуть локтем, дабы поднести ложку ко рту. Не попавшие в зал образовали очередь без конца и без начала, движущуюся по своим загадочным законам. Шевалье, затиснутый за спиной у Жарбы, выпил бокал теплого шампанского и оглядел зал.

Он начал заигрывать по пути с женщиной в серьгах в форме морского конька. Она продвигалась справа от него и улыбалась, как в полусне. Они перемолвились несколькими дюжинами

реплик, поскольку этикет требует этого даже в бандитских трущобах. И хотя шевалье не смог определить, на каком языке она говорила — по-венгерски? на идише? — дама хорошо поняла его намерения. Войдя в дом, они сразу скрылись от гостей, забрались на крышу, и он расшнуровал ей корсет между печными трубами.

Следующей победой Казановы стала образованная англичанка, синий чулок и хозяйка салона. Они вкратце обсудили «Естественную историю» графа де Бюффона, и он доставил ей удовольствие, не покидая комнаты.

Третьей была соученица и подружка Софи. Эту юную девушку, почти что девочку, переполняли живость и любопытство, и шевалье обучил ее азам любовного искусства в одной из кладовых Корнелюс, рядом с кругами остро пахнущих сыров и кувшинами с соленым маслом. Его восхитили и ее школьный, девчоночий французский язык — *«dîtes-moi, s'il vous plaît, qu 'est-ce que c'est que ça, monsieur?»*[36] — и губы, нежные, как креветки.

Четвертым оказался юноша из богатой семьи гугенотов — торговцев шелком в Спайталфилдсе.

---

[36] Примечания: 36
«Дайте мне, пожалуйста, что же это, мсье?» *(фр.)*

Казанова приласкал его и постарался проявить максимум мастерства. Молодой человек обомлел от наслаждения, и шевалье отвел его назад, в комнату, словно старшего сына.

Пятой жертвой его страстей вновь сделалась первая дама. Она недоуменно оглянулась и заговорила с ним на том же непонятном языке. Они уединились в библиотеке и занялись любовью под бильярдным столом.

Он вошел в банкетный зал, когда пробило два часа ночи и над плавучим городом разнесся колокольный звон. Казанова с удивлением обнаружил рядом с собой шевалье Гудара.

— Как я рад видеть вас здесь, маэстро, — приветствовал его аккуратный, будто москит, Гудар. — Я следил за вами и уверен, что вы со мной согласитесь: сегодня вечером вы опять стали самим собой. Прежним Казановой. Так что примите мои поздравления.

Он взял Казанову за руку, снова унизанную кольцами, и поцеловал ее.

— Гудар! — воскликнул шевалье, отдернул руку и вытер ее о камзол. Как бы он желал вышвырнуть из окна этого Мефистофеля! Но Гудар неуничтожим. Гудар кончится лишь тогда, когда настанет конец и Казанове.

— Она здесь? — спросил шевалье.

— Шарпийон? Разумеется, нет. Вы всегда ошибались, мсье, считая ее бессердечной. А на самом деле у нее такое же доброе и чувствительное сердце, как и у вас…

— Выходит, она дома?

— С глазами, красными от слез. Я не осуждаю вас за все, что сделали, но будьте готовы к ее мести.

— Если вам поручили это передать, Гудар, то мне безразлично. Меня не трогают ее слезы. Я должен получить деньги от этих гарпий. А пока пусть они посидят на колокольне. Им полезно.

Гудар усмехнулся. Неужели в его глазах мелькнула жалость?

— Не думаю, что они там долго задержатся, мсье.

— Это почему же?

— Мой уважаемый коллега, я всегда высоко ценил ваши таланты, да их и нет смысла отрицать, они поистине уникальны. Но поверьте, что в данном случае я вижу все яснее, чем вы.

— Возможно, Гудар. Вы чутки, словно ящерица. Или как ящерицын хвост.

— Мсье, каждый человек должен действовать, зная, в чем его сила и чего он способен добиться. Я

спокойнее и хладнокровнее вас. И по натуре хорошо подхожу для роли наблюдателя, доверенного лица или даже, осмелюсь заявить, советника.

— Иными словами, — отозвался Казанова, — по натуре вы хорошо подходите для роли шпиона. Итак, вы хотите мне что-то посоветовать, господин советник?

— Раз уж вы просите у меня совета, — отпарировал Гудар, — несмотря ни на что, я решил остаться вашим другом и рекомендовал бы вам повторить успех одного из былых завоеваний.

— Я уже так и сделал, — ответил Казанова. — Сегодня пятая была первой.

— Я имею в виду Ла-Корнелюс, — пояснил Гудар.

— Терезу?

— Тогда, — продолжал Гудар, посмотрев шевалье прямо в глаза, — вам не придется покидать этот дом сегодня ночью.

— Это угроза? Если вы хотите вывести меня из равновесия, то вам это не удастся. Со мной Жарба, и лодочник тоже поможет мне в пути. Вы должны знать, что я никогда не выхожу из дома безоружным и сумею себя защитить.

— Даже в таком случае вам следовало бы вернуться засветло. Но неужели вас настолько

страшит провести ночь с Корнелюс?

— Гудар, я не привык менять мои планы из-за страха перед какими-то злодеями. Если типы, на которых вы сейчас намекнули, готовы действовать, они все равно отыщут меня завтра или через день. И дневной свет им не помешает. Ну, а если они не столь храбры, то мне и вовсе нечего бояться. Их, как собак, отпугнет любой крик.

— Я ждал от вас этого ответа, мсье. Но исполнил свой долг.

— Значит, вам не в чем себя упрекнуть.

— Мы еще увидимся, мсье.

— Возможно, сегодня же ночью?

глава 7

Был уже четвертый час утра, и оставшиеся гости уснули на стульях или разлеглись на столе в окружении хрусталя и недоеденных роскошных блюд. Женщина с серьгами из морского конька свернулась клубком на ковре и улыбалась во сне. Казанова потрепал ее по лицу, затем свистнул лодочнику и направился домой. Луна еще светила на небе, но пошла на убыль, и некоторые улицы напоминали парящие над водой ульи с серебристыми пчелами. Другие были темны, словно тоннели, прорытые под улицами всех городов, и казались черным эхом верхнего мира. Звуки города изменились, как только началось наводнение, и кошачий визг с Кок-лейн можно было услышать на Голден-сквер, а стук молотка из Ладгейта разносился повсюду. Голоса витали над водой, точно выброшенная бумага, — слова, вздохи и шепоты. Но кому они принадлежали? Людей нигде видно не было. Это язык только что умерших, их последние, бесплотные мольбы, их сетования, подумал шевалье.

Они натолкнулись на труп лошади, медленно отплывший от лодки. Ее туловище сверкало и

раздулось от гнили. Лодочник умело свернул в конец Пэлл-Мэлл, и всего пятьдесят ярдов отделяли их от безопасности, когда в тишине прозвучал голос:

— Доброй ночи, Сейнгальт.

— Кто вы, кто здесь?

Из тени выступили силуэты по меньшей мере трех лодок.

— Что же, — произнес Казанова и сунул руки в карманы. — Гудар оказался настоящим пророком. Жарба! Спроси, что им от меня нужно.

Жарба обратился к ним, и ему ответил человек, стоявший на носу ближайшего судна.

— Это полицейские, — пояснил Жарба. — Они собираются вас арестовать.

— Но сегодня воскресенье, — возразил шевалье. — В воскресенье никого нельзя арестовывать.

— Нет, мсье, — поправил его Жарба. — Сегодня понедельник.

В темноте раздался треск взведенного курка. Его ни с чем нельзя было спутать.

— И куда мы должны поехать? — осведомился Казанова.

— В суд, — ответил Жарба.

— Теперь? В такой час?

Мысль о ночном судилище ему совершенно не понравилась. Какого цвета правосудие может отправляться при мигающих лампах и свечах? Он знал, что в Риме и Санкт-Петербурге принято судить по ночам, но не ожидал этого от англичан. Возможно, они успели заразиться континентальными идеями, но он пока не видел повода волноваться. Казанову арестовывали во многих, пожалуй, в слишком многих странах, и событие утратило для него какой-либо привкус новизны. Однако, когда они последовали за первой лодкой — еще одна плыла сбоку, а третья замыкала мрачную процессию, — он стал размышлять о том, стоило ли так торопливо и небрежно отмахиваться от предупреждения Гудара. Ведь закон был сетью, в которой чем сильнее борешься, пытаясь выбраться, тем больше запутываешься. Он служил многим богам. Истина являлась лишь одним из них, и отнюдь не самым главным. Шевалье взял за руку Жарбу и крепко сжал ее, словно желая приободрить слугу, хотя сам нуждался в поддержке, и почувствовал себя спокойнее от этого жеста.

Лодки двинулись на восток по Кокспур-стрит, миновали Стрэнд и проплыли до конца Сент-Мартин-лейн. Перед Казановой промелькнули тавер-

ны «Карета» и «Лошадь» и железные конструкции «Фреке и Блаженства» на углу Кэстл-Корт. Позади остались Ламли-стрит и переулок Оливера, затем Саутгемптон-стрит и огромная площадь у Ковент-Гардена, где на новом плавучем рынке в самом ее центре опять закипела жизнь. Мимо них проскользнул баркас, груженный турнепсом. Сидевшие в нем старик и мальчик бросили на Казанову столь беглый взор, как будто расстояние между их мирами было бесконечно велико и рассудок не мог преодолеть его в темный, ночной час. Галереи по краям площади скрывала плотная мгла. Одним небесам известно, сколько подозрительных пар каталось там в глубоководных объятиях.

Констебли остановились и привязали лодки у Бедфордской кофейни. Вверху сверкнул свет, из окна второго этажа высунулся какой-то человек и спустил веревочную лестницу.

— Они привезли нас в театр, — произнес шевалье и поспешно осмотрелся по сторонам, желая убедиться в своей правоте.

Жарба заговорил со стоявшим около них полицейским, и они обменялись короткими репликами.

— Теперь магистрат заседает здесь, — сообщил

слуга. — А его дом затопило подобно многим другим.

— Что же, — отозвался Казанова, когда на плечо ему легла тяжелая рука и потащила за собой. — Несомненно, все пройдет как полагается.

Он начал подниматься по лестнице.

Их вел за собой человек с фонарем, стремительно взбиравшийся вверх. Похоже, он не ждал, когда остальные его догонят. Казанова с полицейскими пробрались через тесные, заваленные всяким хламом театральные закутки. С перекладин свисали платья и камзолы, украшенные смешной россыпью стеклянных цехинов и цветных нитей. Костюмы раскачивались на ветру и производили зловещее впечатление, напоминая жертв какого-нибудь революционного трибунала. Затем они одолели короткий лестничный пролет и оказались у низкой двери, в которую человек с фонарем трижды постучал.

Они очутились в настолько странном помещении, настолько знакомом со своими факелами и подсвечниками и в то же время настолько чужеродном, что шевалье боялся сделать хоть шаг. Потом он понял, что их привели на галерку, напротив сцены. Некогда зрители могли купить там места за шиллинг. Просцениум и нижние ложи

полностью погрузились под воду. В разлившихся потоках плавали декорации старого, никому не нужного спектакля. На скамьях галерки и в нескольких ложах ближе к центру гроздями нависали деловитого вида люди. Когда открылась дверь, они оглянулись, но тут же вернулись к своей работе. Судя по парикам и темным плащам, некоторые из них были судейскими чиновниками. Они постоянно вскакивали с мест и вызывали пришедших. Другие держали в руках кипы бумаг или консультировались, низко наклонив головы. Вероятно, это ответчики или их родственники поджидали, когда заслушают их дела. Кто-то сидел с пирогами, апельсинами, трубками и газетами, и Казанове оставалось лишь догадываться, кто эти люди и почему они здесь оказались. Либо им не спалось, либо он увидел актеров, не желавших покидать стены родного театра. От всей обстановки в равной мере веяло скукой, страхом и хаосом.

Шевалье перевел взгляд на магистрата. Перед ним был не тот пухлый, добродушный малый, выписавший ордер на арест Аугспургеров, а человек с черной шелковой повязкой на глазах. Он сидел в кресле, наверху галерки, чуть ли не под потолком.

— Почему он носит эту повязку? — шепнул Казанова, догадавшись, что встреча с очередным эксцентричным англичанином ему дорого обойдется.

— Это сэр Джон Филдинг, — отозвался Жарба. — Он слепой.

— А, собрат Фемиды. Для судьи это большое преимущество, — неуверенно произнес шевалье.

Он сел на скамью и стал ждать, когда его вызовут. Возможно, зритель, занимавший его место и плотно сдавленный другими посетителями, швырнул вниз огрызок яблока, и тот угодил в голову бабушке Аугспургер. Тогда — всего месяц назад! — они заказали ложу и смотрели здесь «Артаксеркса».

Наконец, где-то в пять часов утра, до него дошла очередь.

— Джеймс Казанова! Джеймс Казанова!

Он прошел вместе с Жарбой к трем рядам скамей, стоявших прямо под судейским креслом, и его голова оказалась вровень с укутанными толстым одеялом коленями судьи.

— Казанова?

— Я здесь, синьор.

— Вы также известны под именем шевалье де Сейнгальта?

— Да, верно.

— Вы — гражданин Венеции, а одно время и Франции. Не угодно ли вам назвать суду другие страны, которые вы почтили своим гражданством?

— Я уверен, синьор, что вы досконально ознакомились с моей историей. Могу лишь отметить, что вы в совершенстве владеете итальянским языком. Вы бывали в Серениссиме, синьор?

— Вам понятно, Сейнгальт, почему вас доставили в суд?

Казанова развел руками:

— Ваши полицейские чиновники, синьор, не удосужились рассказать ни мне, ни моему слуге о предъявленных мне обвинениях.

— Тогда я сообщу, в чем вас обвиняют. На вас пожаловалась молодая женщина. Она заявила, что боится ваших угроз и преследований. Если вы не сумеете себя защитить и удовлетворить мои требования, я буду вынужден приговорить вас к пожизненному заключению в тюрьме Его Величества. А сейчас вы можете мне ответить или молча принять решение суда.

На мгновение шевалье ощутил, что происходящее нисколько не задевает его. Как будто не он, а какой-то другой человек, другой несчаст-

ный вот-вот лишится свободы. Почему-то он подумал о Софи и увидел мысленным взором голубой чепец девочки, похожий на синий флаг невинности. Какое будущее ждет ее при такой матери и таком отце? *Povera figlia*[37]. Он желал ей удачи куда больше, чем красоты или ума, ну, а если не удачи, то мужества. Он постарается ей как-нибудь помочь, если только вырвется из этого ада. Господи, ну и ночь выпала на его долю! Почему бы ему сейчас не принять ванну, не полакомиться шоколадом, не лечь в постель, теплую постель с холодными простынями, и спокойно вытянуть ноги…

Когда он снова поднял взгляд — неужели он так и заснул на ногах? — Жарба стоял у судейского кресла. Сэр Джон кивнул, а потом обратился к своему помощнику.

— Мари Шарпийон! Мари Шарпийон! — выкрикнул чиновник.

Слушатели, устроившиеся на скамьях, впервые оживились, и на галерке раздался негромкий рокот, точно колосья зашелестели от ночного ветра.

Шарпийон появилась в центре зала с матерью

---

[37] Примечания: 37
Бедная девчушка *(ит.).*

и тетками. За время пребывания под стражей женщины похудели и поблекли, а усталость словно навсегда отпечаталась на их лицах, но выражение их глаз по-прежнему было жестким и твердым, как пуговицы на камзоле шевалье. Он пожалел, что не успел с ними поговорить, и ему стало стыдно.

— Мы продолжим заседание, — объявил судья, — и будем вести его по-французски, чтобы обе стороны смогли понять друг друга. На карту поставлена свобода этого мужчины. И в равной степени на карту поставлена свобода этой женщины, ибо она не может спокойно ходить по улицам, а значит, она не свободна. Мари Шарпийон, ответьте: перед вами тот человек, на которого вы жаловались?

— Да, это он, мсье.

— Он вам угрожал?

— Неоднократно.

— Как он обращался с вами? Не пускал ли он в ход руки?

— Он бил меня, мсье. Беспощадно бил. Он даже приставил нож к моему горлу, я опасалась за свою жизнь и была в полном отчаянии.

— В чем еще вы его обвиняете?

— Мсье, я считаю этого человека виновным в

смерти моей бабушки. Он вынудил нас поехать вместе с ним в сельскую усадьбу с тяжелым и вредным для здоровья климатом.

— На что еще вы вправе пожаловаться?

— Больше ни на что, мсье. Речь идет только о том, что этот человек преследовал меня и мою семью в течение полугода.

— Очень хорошо. Мсье Казанова, что вы можете сказать в свою защиту?

— Лишь одно. Если законы Англии не допускают, что человека способна обмануть хитрая и бесстыжая молодая куртизанка, что он способен стать жертвой интриг и мошенничества ее противоестественной семьи, способен дойти до предела отчаяния и оказаться на грани безумия из-за чудовищной неверности этой молодой женщины, то я действительно виновен. Но самая страшная из ваших тюрем не сравнится с мучениями, которые мне довелось испытать от семьи Аугспургеров. Я могу добавить, мсье, что они должны мне шесть тысяч франков.

— А я, — произнес лорд Пемброк, безмолвно, словно угорь, проскользнувший в зал суда, — обязался выплатить долг. Но поскольку ответчик должен мне пятьсот гиней, должником является он.

— Брависсимо, — откликнулся Казанова, аплодируя кончиками пальцев, и скривил губу. Его гримаса была столь бесподобна, что лорд отшатнулся, будто его толкнули.

— Мне не нравится вся эта история, — заявил сэр Джон и поправил ленту на глазах. — Я чувствую, что у обеих сторон есть немало за что ответить. Не будь я связан законом и должным прецедентом, я бы заковал эту парочку в кандалы и отправил на площадь в дырявой лодке. Тогда бы они живо нашли общий язык! Скажите мне, мсье Казанова, если вас освободят, намерены ли вы причинить какой-нибудь ущерб этой женщине или ее семье?

— Нет, мсье, не намерен. Признаюсь, я хотел ей отомстить, потому что ни одна женщина не оскорбляла меня столь дерзко и жестоко. Но теперь я мечтаю лишь о мире и спокойствии.

— О мире? Для чего вам нужны мир и спокойствие?

— Я хочу быть тем, кто я есть, мсье.

— Кем же именно?

— Соблазнителем женщин! — воскликнула Шарпийон.

— Разрушителем семей, — хором подхватили тетки.

— Кошмаром матерей, причиной их бессонницы! — закричала мать Шарпийон и уверенным жестом иллюзиониста простерла руки к шевалье, словно рассчитывая, что он должен испариться. — Способны ли вы представить себе, ваша честь, что я пережила, когда этот негодяй стал преследовать мою дочь? Он циничен до мозга костей. Я уверена, что в душе он ненавидит всех женщин. И желал бы их уничтожить.

— Мсье, — обратился к судье Жарба. — Позвольте мне сказать несколько слов.

Сидевшие рядом с судьей как по команде затихли. Сэр Джон повернул голову на источник голоса.

— Вы слуга обвиняемого?

— Да.

— Он хорошо обращается с вами?

— Как и следует обращаться со слугой.

— Можете говорить.

— Мсье, при всем уважении к моему хозяину, шевалье де Сейнгальту, которого иные также называют Казановой, я был свидетелем его отношений с этой женщиной с самых первых дней их знакомства и сразу понял, что любовь не принесет им счастья. Они видели не друг друга, а лишь тени собственных фантазий. Я наблюдал за ними,

когда они были вместе, и казалось, что они находятся в разных комнатах, а когда кто-то из них говорил, то другой его не слышал. И они ни разу не высказывали того, что действительно было у них на уме, кроме одного-двух случаев, когда они блефовали правдой. Мне странно было следить за этой комедией, мсье, комедией с настоящими ударами и синяками. Их было жаль, даже когда над ними хотелось смеяться.

— Смеяться? Полагаю, молодой человек, а на мой взгляд, вы еще очень молоды, вы серьезно рискуете своим местом. Мы знаем, что слуги нередко смеются над нами, но чтобы так вот откровенно… Как вас зовут?

— Сейчас меня называют Жарбой, — ответил Жарба. — Но у меня были и другие имена.

— Итак, Жарба. — На устах судьи заиграла озорная улыбка. — Уж если вы решили говорить столь свободно, то не подскажете ли, как нам опустить занавес? Какой, по-вашему, тут следует устроить финал? Меня просто подмывает приказать им вступить в законный брак. И буду в своем законном праве, между прочим.

Жарба посмотрел на Казанову, который смахнул набежавшие слезы, и кивнул.

— Их нужно разнять, как разнимают детей,

подравшихся на улице, — уверенно произнес Жарба.

Судья задумался и какое-то время сидел молча. Сверху на собравшихся взирал с добрым прищуром портрет Шекспира кисти Амикоми. Стихийное бедствие не сумело поколебать его невозмутимости, лишь лавровый венок от сырости начал крошиться.

— В моем детстве, — проговорил судья, — когда отец или учитель растаскивали наши драки, нам предлагали на выбор: или нас хорошенько отстегают ремнем, или мы пожмем друг другу руки и расстанемся, как подобает нормальным людям. Конечно, мы часто предпочитали порку унижению и отказывались подать руку заклятым врагам. Ведь побороть гордыню труднее всего. Если мсье Казанова даст слово, что не станет добиваться встреч с этой женщиной, Мари Шарпийон, и уж, во всяком случае, не станет ее преследовать, и если он продемонстрирует свою добрую волю, пожмет юной даме руку и попросит у нее прощения, то я соглашусь его освободить. Пусть только два свидетеля-домовладельца поставят свои подписи…

...

— И вы это вытерпели, синьор? Пожали ей руку и попросили прощения?

— Синьора, — ответил Казанова и взялся за обшлага камзола, словно собирался поднять себя из кресла. — Лучше бы меня привязали к телеге и протащили по всем лондонским улицам! Я бы скорее согласился на это...

— Но что может быть проще, чем обменяться рукопожатием, парой слов? Слепой судья был великодушен. Другие могли бы обойтись с вами куда суровее. Окажись на месте судьи женщина...

— И вы тоже готовы заступиться за Шарпийон! Ну как вы не понимаете, что это за чудовище? А как быть со мной? С моими страданиями?

— Разве сейчас время для подобных жалоб? — отозвалась его гостья, поглядев на догорающую свечу и огонь, лижущий фитиль.

— Ха!

Старик опустил голову. Ему уже перевалило за семьдесят. Столько времени на ногах... Он вздохнул, а когда заговорил, его голос прозвучал совсем тихо и походил на шепот.

— Синьора, она тоже сделала шаг мне навстречу, и не один, пожалуй, даже больше, чем я к ней… так что мне не пришлось безоговорочно капитулировать. Ее глаза были… о, ну, глаза как глаза, синьора, но она улыбнулась так, словно выиграла и в то же время проиграла. Что могло ждать ее в будущем? То, что предсказывал Гудар. Вскоре ее оттеснили бы девушки помоложе и посвежее. Лорд Пемброк стал ее покровителем, но едва ли надолго… Да, я подал ей руку, она взяла ее в свою, и рукопожатие Шарпийон больше напоминало мужское, и это меня удивило, ведь у нее были маленькие руки с очень нежными пальцами. Со стороны могло показаться, будто мы заключаем какую-то сделку, что-то чисто коммерческое.

— И вы попросили у нее прощения?

— Да, я попросил у нее прощения. Я говорил громко, чтобы все в зале суда смогли меня услышать. Она ничего не ответила, но задержала свою руку в моей еще на несколько секунд. Судья отпустил нас. Он сказал, что мне надо найти какую-нибудь достойную работу, обзавестись семьей, избегать искушений и авантюр, в общем, всего, ради чего стоит жить. Я поблагодарил его и спросил Жарбу, не надо ли мне заплатить взятку, но момент был уже, по-видимому, упущен. Я

также подумал, не поговорить ли мне напоследок с Шарпийон, сидевшей рядом, или это будет сочтено нарушением тех условий, на которых меня освободили.

— Что еще вы могли бы ей сказать, синьор? Вы же с ней расстались. И ваши пути разошлись.

— Верно. Но тогда мы еще могли все изменить и начать заботиться друг о друге. Для любви… — пробормотал он, как будто эта истина дошла до него медленно и сквозь долгие годы. — Для любви требуется холодная голова…

Он посмотрел в окно. Над Богемией опустилась ночь, и хотя он не желал говорить об этом первым, стены его комнаты, казалось, сделались тоньше. Хорошо, если Финетт сейчас сдвинется с места и напомнит, куда он вытянул ноги. Старик взглянул на свою гостью. Несомненно, в конце визита она поднимет вуаль и покажет ему свое лицо, если, конечно, он не говорил в пустоту.

— Свечи еще хватит, чтобы сжечь письма, — промолвила она. — Если хотите, я вам помогу.

— Не думаю, синьора, — отозвался Казанова, помедлив. — Быть может, позже?

глава 8

Когда он вышел, то изумился, как светло стало на улице. Хотя на кормах лодок у рынка еще горели фонари, он смог разглядеть фасад церкви на другой стороне площади. Жарба отыскал и привел в суд Мартинелли и человека-тень. Они поставили подписи, столь нужные для освобождения шевалье. Теперь оба свидетеля сидели с ним в лодке.

— Куда мы отправимся, мсье? — спросил Жарба. Он успокоился и начал вести себя по-прежнему.

— На Пэлл-Мэлл, — ответил Казанова, обернулся и с дрожью посмотрел на здание театра. — Полагаю, мы, то есть ты, Жарба, спасли немного хорошего вина. И чай для мистера Джонсона.

— Нет, сэр, — возразил Джонсон. — По этому случаю я с удовольствием выпью. Человек спасен от пожизненного заключения, а такое бывает редко. Я разделю с вами бутылочку доброго вина.

Лодочник старался не отклоняться от середины улицы, чтобы его весла не ударили ненароком по ушедшим под воду металлическим вывескам и не запутались в рыбацких сетях с колокольчиками, закинутых чуть ли не от каждого дома.

Их облаяла брошенная на крыше собака. Мимо проплыла молочница с бидонами и рассмеялась без какой-либо причины.

— Вода быстро спадает, — заметил Джонсон. — Лет через пять мы не сможем убедить приезжих, что когда-то по лондонским улицам можно было плыть. Нам никто не поверит.

Их лодка миновала Хеймаркет, гостиницу «Пейнтид-Балкони-Инн», кофейню «Смирна» и книжную лавку Додсли. Наконец лодочник опустил весла, и Жарба, привстав, дотянулся до подоконника спальни Казановы.

Они с трудом, тяжело дыша и опасаясь опрокинуть лодку, последовали за ним и забрались и комнату. Казанова зажег свечи, вышел на площадку и позвал миссис Фивер. Она заметно помолодела от сырости, словно сушеный абрикос, отмокший за ночь в чаше с водой. Жарба закрыл ставни, чтобы с реки не тянуло холодом. Минут через десять шевалье и его гости уселись на стулья, принесенные из гостиной, и подняли бокалы с белым вином «Сотерн» урожая сорок седьмого года из Шато д'Икем. Они уже собирались выпить, когда Казанова услыхал привычный стук распахнувшегося окна в доме напротив.

— Тс-с, — произнес он, торопливо поднялся

из-за стола и распахнул ставни. — Этот малый преследует меня уже не первый месяц.

Он бросил взгляд через Пэлл-Мэлл. Жарба, Джонсон и Мартинелли подошли к нему и облокотились рядом о подоконник. На другой стороне улицы в темном окне замер высокий, худой и бледный человек в мятой ночной рубашке.

— Послушайте… Вот оно! — прошептал Казанова. — Всегда одно и то же. Что он говорит? На что жалуется?

— Он говорит, что счастлив, — любезно улыбнувшись, ответил Мартинелли.

— Счастлив?

— Я тоже его часто слышал, — подтвердил Жарба. — Вы правы, мсье, он всегда кричит одно и то же.

— Он сумасшедший? — спросил шевалье и обвел взглядом лица друзей.

— По всей вероятности, — отозвался Джонсон. — Но это неопасное безумие, и он никого не способен обидеть.

— Если б это сумасшествие было заразительно… — проговорил Мартинелли и положил Казанове руку на плечо.

Они отошли от окна, оставив ставни открытыми, вернулись к столу и осушили бокалы, смакуя

вкус вина шестнадцатилетней выдержки. Город за окнами медленно пробуждался к жизни. Этот огромный, изъязвленный улей вновь воскресал в предрассветном тумане, а его жители потягивались в кроватях и пытались стряхнуть с себя сонное наваждение. Солнце взошло и над Венецией. Когда его лучи ярко заблещут, мальчик откроет глаза и поймет, что живет в мире, где способно случиться все что угодно, как писатель, склонившийся над чистым листом бумаги: вот он грызет кончик пера, опьяненный чувством раскинувшейся перед ним беспредельности, прежде чем первая начертанная буква, первое слово, первая ослепительная клякса повлекут его к неизбежному концу. Но вот день опять сменяется ночью, и, к лучшему или к худшему, все становится иным. И повсюду начинаются новые истории.

Примечание автора

Основой данного романа отчасти послужили воспоминания Казановы «История моей жизни» *(«Histoire de Ma Vie»),* написанные на склоне лет в замке графа Вальдштайна Дукс на чешско-германской границе. Однако по большей части это чистый вымысел.

Казанова, подлинный, «исторический» Казанова, умер 4 июня 1798 года в возрасте семидесяти трех лет. Его могучее тело больше не выдержало тяжести бурной, богатой приключениями жизни. Похоронили его на кладбище при церкви Святой Барбары, неподалеку от замка Дукс. Сейчас там нет никакого памятника, но говорят, что долгие годы на его могиле стоял ржавый крест и цеплял юбки молодых женщин, ходивших по соседней тропинке.

Мари Шарпийон впоследствии стала любовницей английского политика-радикала Джона Уилкса, но после 1777 года, когда ей исполнился всего тридцать один год, ее имя исчезло со страниц исторических книг. Ее дальнейшая судьба останется неизвестной.